

ГАБРИЭ
ГАРСИА
МАРКЕС

SEATTLE PUBLIC LIBRARY



0 01 00 4479439 3

*Добрый фокусник,
продавец чудес*



Единственное, что я отказываюсь делать,
так это воскрешать мертвых...

СТИЛЬ
НОВЫЙ

**ГАБРИЭЛЬ
ГАРСИЯ МАРКЕС**

*Добрый завтрак,
продавец чудес*



Санкт-Петербург
КРИСТАЛЛ
2001

ББК 84.7Кол
Г 20

Серия основана в 2001 году

Выпускающий редактор
Р. В. Грищенко

Составил и перевел
Ростислав Герман

Художественное оформление серии
И. Г. Мосин

*В оформлении обложки использована
работа Джима Линна*

ISBN 5-306-00142-4

© Р. Герман, составление,
2001

© Р. Герман, перевод, 1979

© ООО «Издательский Дом
„Кристалл“»,
2001

РАССКАЗ НЕ УТОНУВШЕГО В ОТКРЫТОМ МОРЕ

КАКИМИ БЫЛИ МОИ ТОВАРИЩИ, ПОГИБШИЕ В МОРЕ

22 февраля нам объявили, что скоро мы возвращаемся в Колумбию. Целых восемь месяцев пробыли мы в Мобиле, штат Алабама, пока обновлялись вооружение и электронная аппаратура нашего эскадренного миноносца «Кальдас». Одновременно мы, члены команды, получали специальный инструктаж, а свободное время проводили, как все моряки на свете: ходили в кино со своими подружками, собирались в таверне «Джо Палука» и пили там виски, а иногда и скандалили.

Мою девушку звали Мэри Эддрес. Хотя испанский ей давался легко, она, кажется, так и не поняла, почему мои товарищи звали ее Мариа Дирексьон¹. Каждый раз, как мне давали увольнительную, я ходил с ней в кино, но она больше любила мороженое.

Только однажды я пошел в кино без Мэри — в тот вечер, когда мы смотрели «Мятеж на Кайне». Кому-то из моих приятелей сказали, что это интересный фильм из жизни военных моряков, поэтому мы и пошли. Но больше всего нас взволновал шторм, а не события на тральщике. Все мы согласились, что в такую бурю есть один выход — изменить курс, что и было сделано мятежниками. Однако никто из нас в такой шторм еще не попадал, поэтому картина шторма больше всего взвол-

¹ Адрес (англ.; исп.).

новала нас в фильме. Когда мы возвращались на корабль, матрос Диего Веласкес, на которого фильм произвел очень сильное впечатление, сказал: «А что если и с нами случится что-нибудь подобное?»

Признаюсь, фильм и на меня произвел впечатление. За восемь месяцев я совсем отвык от моря. Не то чтобы я очень боялся: нас учили, что нужно делать для спасения своей жизни в случае бедствия на море. И все-таки в тот вечер после фильма я испытывал какое-то странное беспокойство. Не хочу утверждать, что уже предчувствовал катастрофу, но верно одно: никогда раньше предстоящее плавание не нагоняло на меня такого страха. В Божоте, когда еще мальчиком я видел море в книжных иллюстрациях, мне и в голову не приходило, что кто-то может погибнуть на море. Наоборот, я питал к морю большое доверие. И за время, что я служил на флоте, я ни разу не испытывал беспокойства.

И все же мне не стыдно признаться, что я, когда посмотрел фильм «Мятеж на Кайне», почувствовал что-то очень похожее на страх. Лежа на своей койке — самой верхней, я думал о родном доме, о предстоящем рейсе и не мог заснуть. Подложив руки под голову, я слушал слабый шум моря и спокойное дыхание сорока моряков. Подо мной была койка Луиса Ренхифо, он храпел, точно дул в тромбон. Не знаю, какие он видел сны, но уверен, что он не спал бы так безмятежно, если бы мог предвидеть, что через ВОСЕМЬ ДНЕЙ будет лежать мертвым на дне моря.

Беспокойство не оставляло меня всю неделю. День отплытия быстро приближался, и я искал уверенности в разговорах с приятелями. Эсминец «Кальдас» стоял готовый к отплытию. Мы все чаще говорили о Колумбии, о родном доме, о наших планах. Мало-помалу корабль нагружался подарками для наших семей: в основном холодильниками, радиоприемниками, стиральными машинами и электроплитами. Я купил радиоприемник.

Я никак не мог отделаться от тревоги и твердо решил: как только попаду в Картахену, сразу по-

прошу отчислить меня из флота. Я не хотел больше подвергать свою жизнь опасности. В ночь перед отплытием я пошел проститься с Мэри, думая рассказать ей заодно о моих опасениях и о принятом решении, но ничего не сказал: я ведь обещал ей вернуться в Мобил. Единственным, кому я рассказал о своем решении, был мой друг старший матрос Рамон Эррера. Он признался мне, что тоже решил оставить службу на флоте, как только прибудет в Картахену. Мы с ним да еще с Диего Веласкесом отправились в таверну «Джо Палука» выпить на прощание виски. Думали пропустить по стаканчику, но выпили пять бутылок. Наши подруги тоже решили напиться и пошпакать в знак благодарности. Руководитель оркестра, человек с серьезным лицом, в очках, и совсем не похожий на музыканта, исполнил в нашу честь несколько танго и мамбо, считая, что это колумбийская музыка. В ту последнюю неделю нам выдали тройное жалованье, и мы решили гульнуть так, что чертям тошно стало. Мне хотелось напиться, чтобы заглушить свое беспокойство, а Рамону Эррере — просто потому, что он был родом из Архоны и весельчак, хорошо играл на барабанах и ловко подражал всем модным певцам.

Незадолго до нашего ухода из таверны к нам подошел американский моряк и попросил у Рамона Эрреры разрешения потанцевать с его подругой — огромной блондинкой, которая меньше всех пила и больше всех плакала (и, надо сказать, совершенно искренне!). Американец попросил по-английски, и Рамон с силой оттолкнул его и сказал по-испански: «Ни черта не понимаю!»

Это была одна из лучших драк в Мобиле, с поломанными стульями, радиопатрулями, полицейскими — все как полагается. Рамон Эррера, которому удалось-таки разделать американца как следует, вернулся на корабль к часу ночи, громко распевая песни в стиле Даниэля Сантоса. Он заявил, что плывет на эсминце в последний раз. Так оно и вышло...

24 февраля в три часа утра эскадренный миноносец «Кальдас» вышел из Мобила и взял курс на Картахену. Всех охватила радость в предвидении

скорого возвращения. Старшина Мигель Ортега был особенно весел. Едва ли можно было сыскать на свете моряка благоразумней, чем старшина Мигель Ортега. За все восемь месяцев пребывания в Мобиле он не прокутил ни единого доллара. Все деньги он потратил на подарки жене, ожидавшей его в Картахене. В то утро, когда мы готовились к отплытию, старшина Мигель Ортега стоял на мостике и говорил, как обычно, о своей жене и детях — ни о чем другом он никогда не говорил. Он вез домой холодильник, стиральную машину, радиоприемник и электроплиту. Двенадцать часов спустя Мигель Ортега лежал на своей койке, умирая от морской болезни, а еще через девяносто часов он лежал по-настоящему мертвый на дне моря.

ПРИГЛАШЕННЫЕ СМЕРТЬЮ

Когда судно отчаливает, раздается команда: «Все по местам!» Каждый остается на своем посту, пока корабль не выйдет из залива в открытое море. Я молча стоял на своем месте у торпедных аппаратов и смотрел на таявшие в тумане огни Мобила. Я не думал о Мэри. Я думал о морской пучине, о том, что на следующий день мы будем в Мексиканском заливе, а в такое время года это опасное место. До самого рассвета я не видел капитан-лейтенанта Хайме Мартинеса Диего — единственного офицера, погибшего при несчастье. Это был высокий, крепкий и молчаливый человек, с которым я редко встречался. Знал только, что он родом из Толимы и сльвет отличным человеком.

Зато я видел второго боцмана, высокого и подтянутого Амадора Карабальо. Он прошел мимо, взглянул на исчезающие огни Мобила и снова вернулся на свое место.

Никто из экипажа не радовался возвращению так шумно, как старший механик Элиас Сабогаль. Это был настоящий морской волк, небольшого роста, плотный, загорелый и большой любитель поговорить. Ему было лет сорок, и думаю, что большую их часть он провел в разговорах. Теперь

у Сабогаля была особая причина для ликования: В Картахене его ждали жена и шестеро детей, но он знал только пятерых, потому что последний родился, когда мы были в Мобиле.

До самого рассвета все протекало совершенно спокойно. Понадобился час, чтобы я снова свыкся с плаванием на корабле. Огни Мобила растаяли в мягком тумане ясного утра, и на востоке показалось солнце. Беспокойство мое прошло, теперь я чувствовал только усталость. Давали себя знать ночь, проведенная без сна, и выпитое виски.

В шесть утра мы вышли в открытое море, и раздалась команда: «Всем отбой, вахтенные — по местам». Я сразу пошел в кубрик. Луис Ренхифо сидел на койке и протирап глаза, стараясь окончательно прогнать сон.

— Где мы плывем? — спросил меня Луис Ренхифо. Я ответил, что мы только что вышли в открытое море, а потом взобрался на свою койку и попытался заснуть.

Луис Ренхифо был стопроцентным моряком. Он родился в Чоко, далеко от моря, но море было его призванием. Когда «Кальдас» стал на ремонт в Мобиле, Луис Ренхифо еще не был членом нашей команды. Он жил в Вашингтоне и слушал курс лекций по оружейному делу. Это был серьезный, трудолюбивый парень, и по-английски он говорил не хуже, чем по-испански. Он женился в Вашингтоне на девушке из Санто-Доминго, получил диплом инженера и, когда ремонт эсминца «Кальдас» был закончен, приехал в Мобил и был зачислен в команду. Незадолго до отплытия он говорил мне, что, как только прибудет в Колумбию, первым делом займется переездом жены из Вашингтона в Картахену.

Так как Луис Ренхифо давно не плавал, я был уверен, что его укачает. В то первое утро нашего путешествия он спросил меня:

— Тебя еще не укачало?

Я ответил, что еще нет. Тогда он сказал:

— Через два-три часа у тебя вывалится язык.

— Посмотрим, у кого раньше, — сказал я.

И он ответил:

— Скорее море укачает себя, чем укачает меня.

Я лежал на койке и старался заснуть. И опять вспомнил о шторме, и снова ожили страхи прошедшей ночи. Я повернулся к Луису Ренхифо, уже совсем одетому, и сказал:

— Смотри, как бы твой язык не наказал тебя.

ПОСЛЕДНИЕ МИНУТЫ МОЕГО ПРЕБЫВАНИЯ НА БОРТУ ЭСМИНЦА

«Мы уже в Мексиканском заливе»,— сказал мне один из моряков, когда 26 февраля я пошел завтракать. Накануне я с беспокойством думал о погоде в заливе. Но эсминец, хотя его и покачивало, мягко скользил по воде. Я с облегчением подумал, что мои страхи неосновательны, и вышел на палубу. Вокруг были только зеленое море да синее небо. На полубаке сидел Мигель Ортега, бледный, совсем ослабший, и боролся с приступами морской болезни. Она началась у него раньше, когда еще были видны огни Мобила. Теперь он даже не мог стоять на ногах, а ведь он не был новичком на море. Мигель Ортега плавал в Корею на фрегате «Адмирал Падилья», много путешествовал и давно сроднился с морем. И вот, несмотря на спокойствие в заливе, он не мог без посторонней помощи нести вахту. Он был похож на умирающего, желудок его не принимал никакой пищи, и товарищи по вахте сажали его на корме или на полубаке, а с концом вахты отводили его в кубрик.

Кажется, это Рамон Эррера сказал мне поздно вечером 26-го, что на Карибском море нам придется туго. По нашим расчетам, мы должны были миновать Мексиканский залив после полуночи. Стоя на вахте у торпедных аппаратов, я предвкушал минуту, когда мы окажемся в Картахене, и заранее радовался. Ночь была ясная, и высокое круглое небо густо усеяно звездами. На флоте меня потянуло к изучению карты неба, и теперь я с удовольствием искал созвездия и вспоминал названия звезд.

Думаю, что старый моряк, исколесивший весь свет, может по одной только качке корабля определить, в каком море он плывет. Мой собственный опыт подсказал мне, что мы уже в Карибском море — именно здесь началась моя служба на флоте. Помню, я взглянул на часы: было 31 минута первого 27 февраля. Если бы и не качало так сильно, я все равно узнал бы Карибское море. Но качало сильно. Обычно я хорошо переношу качку, но тогда что-то забеспокоился. Меня охватило странное предчувствие, и, неизвестно почему, я представил себе Мигеля Ортегу там, на койке внизу, мучающимся от приступов тошноты.

В шесть утра волны качали эсминец, как скорлупу. Луис Ренхифо не спал.

— Толстяк, — спросил он меня, — тебе еще не укачало?

Я ответил, что нет, но поделился с ним своими опасениями. Ренхифо — а он, как я уже сказал, был инженером, серьезным, трудолюбивым человеком и хорошим моряком — подробно объяснил, почему с эсминцем в Карибском море не может случиться ничего серьезного. «Это бывалый корабль», — сказал он и напомнил, что во время войны в этих самых водах «Кальдас» потопил немецкую подводную лодку.

НАЧИНАЕТСЯ ПЛЯСКА

Настоящая пляска началась в десять часов вечера. В течение всего дня «Кальдас» сильно качало, но не так, как в этот вечер 27 февраля. Я лежал без сна и с ужасом думал о тех, кто стоит на вахте. Я знал, что никто из моряков, лежащих на койках, не спит. Около полуночи я сказал Луису Ренхифо:

— Тебя еще не укачало?

Он не потерял чувства юмора и ответил:

— Я же сказал тебе, что море скорее укачает себя, чем укачает меня.

Он едва успел закончить фразу, которую так любил повторять.

Я уже говорил, что был встревожен, что чувствовал что-то похожее на страх. Когда же в полночь из громкоговорителей раздалась команда: «Всем стать на правый борт», — я впервые за два года плавания на эсминце испытал настоящий страх перед морем. Я знал, что означала эта команда: судно дает сильный крен на левый борт и надо попытаться хоть слегка выровнять его нашим весом. Наверху, где промокшие до нитки люди на вахте дрожали от холода, свистел ветер. Я быстро вскочил с постели. Луис Ренхифо не спеша встал на ноги и пошел к свободной койке по левому борту. Я вспомнил о Мигеле Ортеге.

Мигель Ортега не мог двигаться. Услышав команду, попытался встать, но тут же свалился. Я помог ему перебраться на другую койку. Слабым голосом он сказал, что чувствует себя очень плохо.

— Ничего, мы попросим, чтобы тебя освободили от вахты, — сказал я. Легко рассуждать теперь, но если бы Мигель Ортега остался лежать на койке, он не был бы сейчас мертв.

Так и не поспав, я и еще пятеро вахтенных в четыре часа утра 28 февраля собрались на корме. В пять тридцать я взял с собой юнгу и пошел осматривать днище корабля. В восемь я без всяких происшествий сдал свою последнюю вахту. А ветер все крепчал, волны вздымались все выше и разбивались о мостик, заливая всю палубу.

Со мной на корме находился Рамон Эррера. Был там и Луис Ренхифо — в наушниках, как член спасательной команды. На полубаке, где меньше чувствуется качка, сидел Мигель Ортега, по-прежнему изнемогая от своей болезни. Я поговорил немного с кладовщиком Эдуардо Кастильо — это был холостой и очень сдержанный парень родом из Боготы, не помню, о чем мы говорили с ним, но помню, что снова я увидел его несколько часов спустя, когда он уже тонул в море. Рамон Эррера собирал листы упаковочного картона, чтобы накрыться ими и попытаться заснуть, — в спальном салоне спать было невозможно, и мы устроились среди ящиков с холодильниками, электроплитами и стиральными машинами, чтобы вол-

на не смыла нас за борт. Я лежал на спине, смотрел на небо и чувствовал себя спокойнее и увереннее, считая, что через несколько часов мы будем в Картахене. Шторма как такового не было — только волнение. День был совершенно безоблачным, воздух прозрачный, а небо ярко-синее. После дежурства и ногам стало легче: я снял жавшие ботинки и надел туфли на каучуке.

МИНУТА БЕЗМОЛВИЯ

Луис Ренхифо спросил меня, который час. Было половина девятого. Вот уже час, как корабль глубоко зарывается в волну и опасно ложится на левый борт. Из громкоговорителей раздалась команда: «Всем стать на правый борт». Ни Рамон, ни я не двинулись с места: мы и так лежали на правом борту. В ту же минуту корабль дал страшный крен и провалился в водяную яму. У меня перехватило дыхание. Огромная волна с грохотом разбилась над нами и окатила с головы до ног. Медленно, тяжело раскачиваясь, эсминец выпрямился. Луис Ренхифо слегка побледнел. Он сказал нервозно:

— Что за черт! Это судно любит нырять и не хочет выныривать!

Я впервые видел Луиса Ренхифо встревоженным. Рамон Эррера лежал рядом со мной, лежал задумавшись. Какую-то минуту все молчали. Потом Рамон Эррера сказал:

— Как только прикажут рубить канаты и сбрасывать груз в воду, я начну первым.

Восемь часов сорок пять минут. Эсминец продолжал бороться с волнами, но его все сильнее втягивало в пучину. Рамон Эррера подтащил большой брезент, и мы накрылись. Новая волна, еще больше прежней, взметнулась над палубой, и я закрыл голову руками. Волна прошла. Загудели громкоговорители, и я подумал: «Сейчас прикажут рубить канаты». Но послышалась другая команда — спокойный и уверенный голос сказал: «Всем, кто на палубе, надеть спасательные пояса».

Луис Ренхифо взял наушники в левую руку, а правой не ссылая надел спасательный пояс. Как бывало после удара каждой большой волны, я сначала ощутил как бы пустоту внутри себя, а затем глубокую тишину. Я увидел, как Луис Ренхифо снова надел наушники. Тут я закрыл глаза и яственно услышал тиканье своих часов. Я слушал часы приблизительно с минуту. Рамон Эррера лежал неподвижно. «Сейчас, наверно, без десяти девять, а еще через шесть часов мы будем в Картахене», — подумал я. В следующую секунду корабль словно повис в воздухе. Я высунул руку из-под брезента, чтобы взглянуть на часы, но не успел увидеть ни часов, ни руки. Я и волны не увидел, только почувствовав, что палуба подо мной куда-то проваливается, а ящики с грузом двигаются. Я мгновенно вскочил на ноги и оказался по шею в воде. На короткий миг увидел перед собой позеленевшее лицо Луиса Ренхифо с вытаращенными глазами. Он держал наушники в вытянутой руке и пытался выбраться из воды. Тут вода накрыла меня с головой и я начал грести руками вверх. Секунду, две, три я все выгребал вверх, стараясь всплыть. Я задыхался. Иская руками ящики, но кругом была только вода. Когда я наконец вынырнул, я не увидел ничего, кроме моря. Но через секунду, метрах в ста от меня, среди волн возник наш корабль. С него, точно с подводной лодки, потоками стекала вода. Только тогда я окончательно понял, что меня смыло волной.

ЧЕТВЕРО МОИХ ТОВАРИЩЕЙ ТОНУТ У МЕНЯ НА ГЛАЗАХ

Вначале мне показалось, что я один среди моря. Держась на воде, я увидел издали, как одна волна заклестнула корабль, и он, ринувшись в глубокую пропасть, исчез. Я подумал тогда, что он пошел ко дну. И вскоре, как бы в подтверждение этому, вокруг появилось множество ящиков с эсминца. Они качались на волнах в беспорядочном танце. Я не мог сообразить, что происходит. Ошеломленный, я

ухватился за один из ящиков и стал отупело разглядывать море. День был очень ясный. Кроме больших волн и разбросанных повсюду ящиков с товарами, ничто не говорило о случившейся трагедии. Вдруг я услышал вблизи чьи-то крики. Сквозь пронзительный вой ветра я безошибочно узнал голос Хулио Амадора Карабальо, высокого и статного механика:

— Держись тут, за пояс!..

Я будто проснулся от глубокого сна, длившегося минуту. Я был не один на море: там, в нескольких метрах от меня, слышались голоса моих товарищей. Моя голова лихорадочно заработала. Куда-то плыть бессмысленно: мы в двухстах милях от берега, и я совсем утратил чувство ориентации. И все же я еще не испытывал особого страха. Я подумал, что вполне могу дождаться помощи, держась за ящик. Меня успокаивало и то, что рядом со мной в тех же условиях находятся и другие моряки.

И тут я увидел плот — точнее, два спасательных плота метрах в семи один от другого. Они появились неожиданно на гребне волны с той стороны, откуда доносились крики моих товарищей. Меня удивило, что никто из них не взобрался на плот. В следующую секунду один из плотов исчез. Я был в нерешительности, не зная, что делать — попытаться ли догнать вплавь оставшийся плот или не рисковать и держаться за ящик. Но, еще не успев принять сознательное решение, я уже плыл к плоту. Плыл я минуты три. На какое-то время я потерял плот из виду, но старался держаться взятого направления. Внезапно плот подскочил на волне и очутился рядом со мной. Я вцепился в пеньковую сеть и после нескольких попыток, уже совсем обессиленный, забрался на него. С трудом удерживая под бешеными порывами ветра равновесие, я выпрямился и увидел своих товарищей: они плыли к плоту.

Я сразу узнал их. Заведующий складом Эдуардо Кастильо ухватился за шею Хулио Амадора Карабальо, который на эсминце стоял на вахте и потому надел спасательный пояс. Он кричал теперь: «Дер-

жись крепче, Кастильо!» Они были метрах в десяти от меня, среди плывущих ящиков с товарами.

По другую сторону плыл Луис Ренхифо. Он снял с себя рубашку, чтобы легче было плыть, но при этом потерял спасательный пояс. Даже не видя его, я все равно узнал бы его по голосу. Он кричал мне:

— Толстяк, гребни сюда!

Я схватил весла и попытался подгребсти к товарищам. Хулио Амадор и Эдуардо Кастильо приближались к плоту. Далеко позади них, маленький и отчаявшийся, виднелся четвертый из моих товарищей — Рамон Эррера. Он держался за ящик и махал мне рукой.

Если бы мне пришлось решать, кого спасти первым, я был бы в затруднении. Но, увидев Рамона Эррера, того самого, что устроил скандал в Мобиле, веселого парня из Архоны, который несколько минут назад лежал рядом со мной на корме, — я, не раздумывая, судорожно начал гребсти к нему. Но плот был очень тяжелый, плохо двигался в разбушевавшемся море, и гребсти, кроме того, надо было против ветра. Едва ли мне удалось продвинуться больше чем на метр. В отчаянии я снова огляделся вокруг. Рамона Эррера на поверхности моря не было.

Луис Ренхифо уверенно приближался к плоту. Я не сомневался, что он доплывет. Я не раз слышал его громкий, похожий на звук трюмбона храп под моею койкой и считал, что спокойствие этого человека окажется сильнее моря. Хулио Амадор все возился с Эдуардо Кастильо, который, казалось, вот-вот отпустит его шею. Они были уже в каких-нибудь трех метрах от плота. Я думал: пусть приблизятся еще немного, и я протяну им весло, но тут плот подбросило вверх на гигантской волне, и я увидел с высокого гребня мачту удаляющегося эсминца. Когда плот опустился, Хулио Амадор уже исчез с Эдуардо Кастильо. Только Луис Ренхифо спокойно плыл к плоту. Он был уже в двух метрах от меня. Не понимаю, как мог я сделать такую глупость: зная, что гребсти бесполезно, я сунул весло вертикально в воду, желая остановить плот, при-

гвоздить его к месту. Луис Ренхифо, уже задыхаясь, остановился на секунду, поднял руку — как на эсминце, когда держал наушники,— и еще раз крикнул:

— Греби сюда, толстяк!

Ветер дул от него мне в лицо. Я крикнул, что не могу грести против ветра, что ему надо сделать последнее усилие, но думаю, что он меня не услышал. Ящиков уже не было видно, и волны бросали плот из стороны в сторону. Был момент, когда плот отскочил от Ренхифо метров на семь, и я потерял его из виду. Вскоре он появился в другом месте, все еще не потерявший надежды. Он нырял, стараясь пробить волну и не дать ей унести его. Я стоял с веслом в руках, готовый протянуть его, когда Ренхифо приблизится. И тут я заметил, что он обессилел и в отчаянии. Он крикнул снова, уже едва держась на поверхности:

— Толстяк!.. Толстяк!..

Я принялся грести, но усилия мои были напрасны; попытался дотянуться до него веслом, но его поднятая рука, та самая, которая всего за несколько минут до этого пыталась уберечь наушники от воды, навсегда ушла под воду в двух метрах от протянутого весла.

Трудно сказать, сколько времени простоял я, балансируя на зыбком плоту. Я всматривался в морские волны, ждал, что вот-вот кто-нибудь выплывет на поверхность. Но море было пустынным, и только ветер с остервенением трепал мою рубашку, завывая, как бездомный пес. Вдалеке замаячила мачта эсминца «Кальдас». «Не утонул», — подумал я, и на душе у меня стало спокойней: я решил, что за мной скоро приплывут. Я думал также, что кто-нибудь из моих товарищей по несчастью мог добраться до второго плота. В этом не было ничего невероятного. Плоты эти, правда, не были оснащены, но их было шесть на эсминце, кроме шлюпок и вельботов. Кто-то мог доплыть до других плотов, думал я, и эсминец, возможно, ищет нас.

Вдруг я обратил внимание на солнце — жаркое утреннее солнце с каким-то металлическим бле-

ском. Все еще не вполне оправившись от потрясения, я взглянул на часы. Было девять часов ровно.

Мне казалось, что прошло уже много времени с той минуты, как случилось несчастье, но на самом деле, с тех пор как я смотрел на часы в последний раз, еще на эсминце, и до этого момента, когда я уже остался один на плоту — стоял в оцепенении, слушая пронзительный вой ветра, — прошло всего десять минут. Я подумал, что придется ждать два или три часа, прежде чем ко мне придет помощь. «Два или три часа», — подумал я, и мне показалось, что время это слишком велико, чтобы можно было провести его одному в пустыне моря. Есть и пить было нечего, и я представил себе, что к полудню жажда делается невыносимой. Но я решил не отчаиваться. Солнце начинало обжигать стянутую морской солью сухую кожу. Фуражку я потерял при падении, и сейчас, смочив голову, я сел на широкий борт плота и стал ждать.

Только тогда я почувствовал боль в правом колене. Жесткие форменные брюки намокли, и мне стоило немалых усилий подвернуть их повыше. Когда колено обнажилось, меня передернуло: под коленной чашечкой зияла глубокая рана в форме полумесяца. Не знаю, ударился ли я об обшивку корабля или о ящик, когда падал в воду. Помню только, что боль я почувствовал, когда уже сидел на плоту, и, хотя рана слегка горела, она была совершенно сухая — наверно, от морской соли. Не зная, чем заняться, я произвел инвентаризацию наличных вещей. Я хотел знать, чем располагаю, оставшись в одиночестве посреди моря. Во-первых, у меня были часы. Они шли нормально, и я не мог удержаться, чтобы не смотреть на них каждые две-три минуты. Еще было золотое кольцо, купленное в прошлом году в Картахене, и медальон на цепочке с девой Марией дель Кармель, купленный у другого моряка за 35 песо. В карманах оказались только ключи от моего шкафчика на эсминце и три рекламных проспекта одного из мобилских магазинов. Их дали мне, когда мы с Мэри Эддрес что-то там покупали. Чтобы убить время, я стал читать эти проспекты. Не знаю почему, но я

представил себе, что это зашифрованное письмо из тех, что запечатывают в бутылку и бросают в море, когда терпят кораблекрушение. И думаю, что, оказись в это время у меня бутылка, я бы сунул в нее один из этих проспектов, чтобы поиграть в Робинзона и потом иметь возможность рассказать моим приятелям что-то забавное.

К двум часам дня ветер стих. Так как вокруг простирались только водная гладь да чистое небо и ориентироваться было не на что, то прошло более двух часов, прежде чем я почувствовала, что плот движется. Но плот, конечно, с самого начала двигался по прямой, подгоняемый ветром, и с такой скоростью, что в безветрии с помощью весел я бы двигался медленнее. Однако у меня не было никакого представления о том, куда я плыву — к берегу или от берега. Последнее казалось мне более вероятным, ибо я считал, что море никогда не выбросит на берег что-нибудь оказавшееся за 200 миль от земли и тем более человека на тяжелом плоту. Первые два часа я пытался рассчитать в уме возможно точнее путь эсминца. Я решил, что если с эсминца телеграфировали в Картахену, то дали точные координаты места катастрофы и оттуда уже послали самолеты и вертолеты, чтобы спасти потерпевших бедствие. Я прикинул, что через два часа они уже будут кружиться над моей головой. Ровно в 12 часов дня я сел на борт плота и стал внимательно всматриваться в горизонт. Я снял весла и положил их на середину плота, чтобы быстрее приспособить их как потребуется, когда появятся самолеты. Потекли долгие и напряженные минуты. Солнце обжигало лицо и плечи, губы горели от морской соли. Но ни голода, ни жажды я не чувствовал. Мне нужно было только одно — поскорее увидеть самолеты. Я уже все обдумал: как только они появятся, я налажу весла и начну грести по направлению к ним, а когда они будут надо мной — встану на ноги и начну махать рубашкой. Чтобы быть совсем готовым, чтобы не потерять ни одной минуты, я расстегнул рубашку и продолжал сидеть, поворачивая голову, чтобы наблюдать все стороны горизонта, так как

я не знал, с какой стороны могут появиться самолеты.

В полдень ветер все еще завывал, и в этом вое мне слышался голос Луиса Ренхифо: «Толстяк, гребь сюда!» Я слышал его совсем отчетливо, будто он был рядом, в трех метрах от плота, и пытался достать до весла рукой. Я знал, что, когда на море поднимается ветер и волны разбиваются о прибрежные скалы, бывает, что человеку слышатся в этом шуме знакомые голоса. И мне слышалось навязчиво, до умопомешательства: «Толстяк, гребь сюда!»

В три часа я начал нервничать. Знал, что в этот час эсминец уже стоит на причале в Картахене и мои товарищи скоро разбредутся, счастливые, по всему городу. Потом мне представилось, что все они думают обо мне, и это вернуло мне бодрость духа. Я приготовился терпеливо ждать до четырех дня. Если допустить, что не телеграфировали, если даже сразу не заметили, что люди упали за борт,— все равно должны были заметить это потом, во время швартовки, когда вся команда выстроится на палубе. Это могло быть самое позднее в три, и, конечно, сразу же сообщили бы о случившемся. Как бы ни замешкались на аэродроме, через полчаса самолеты будут уже в воздухе. Так что к четырем часам, самое позднее — к половине пятого они должны появиться надо мной. Я продолжал наблюдать за горизонтом, пока не утих ветер. Когда он утих, меня окутал глухой шум моря, и тогда я перестал слышать крики Луиса Ренхифо.

Сначала мне казалось, что невозможно выдержать три часа одиночества среди моря. Но в пять дня, когда уже протекли целых восемь часов, я почувствовал, что могу подождать еще один час. Солнце, склонявшееся к закату, сделалось большим и красным. Теперь я мог ориентироваться и знал, с какой стороны я могу ждать появления самолетов. Повернувшись так, чтобы солнце было от меня справа, я стал смотреть прямо перед собой, не отрывая взгляда от точки горизонта, за которым, по моим расчетам, была Картахена. В шесть часов у меня заболели глаза, но я по-прежнему не отрываясь

смотрел вперед. Даже когда стало смеркаться, я упрямо продолжал смотреть. Я знал, что теперь самолетов видно не будет, но я увижу приближающиеся зеленые и красные огни, увижу их прежде, чем шум моторов дойдет до моего слуха. Мне хотелось увидеть эти огни, и я забыл о том, что заметить меня в сумерках с самолета не смогут. Как-то вдруг небо стало красным, а я все смотрел на горизонт; потом стало темно-фиолетовым, а я все так же смотрел. По другую сторону плота, точно желтый бриллиант на небе цвета вина засияла первая звезда, казавшаяся квадратной. Это было как сигнал, и темная, плотная ночь сразу накрыла море.

Когда я осознал наконец, что меня окутала тьма, что я едва могу разглядеть собственную вытянутую руку, мне показалось, что мне не справиться с охватившим меня отчаянием. Теперь, оказавшись во мраке ночи, я понял, что не был столь одиноким в дневные часы. По-настоящему одиноким я почувствовал себя в темноте, на плоту, которого я не видел, а только чувствовал под собой, глухо скользящем в густой воде моря, населенной странными существами. Я посмотрел на светящийся циферблат моих часов. Было без десяти семь. Когда мне показалось, что прошло часа полтора или два, я снова посмотрел на часы: было без пяти семь... Наконец минутная стрелка добралась до цифры двенадцать — наступило ровно семь часов вечера, и небо было густо усыпано звездами. Но мне казалось, времени прошло столько, что уже пора было наступить рассвету. И я все еще думал о самолетах.

МОЯ ПЕРВАЯ НОЧЬ В КАРИБСКОМ МОРЕ

Мне стало холодно. Невозможно оставаться сухим на таком плоту. Даже когда сядешь на борт, ноги остаются в воде, потому что днище из сети, провисая, уходит в воду почти на полметра. В восемь часов вечера в воде было теплее, чем на воздухе. Я знал, что, лежа в воде на середине плота, я был бы в безопасности, отделенный от морских

животных прочной сетью. Но этому учат в морской школе, и этому только там веришь, когда инструктор демонстрирует все на небольшой модели, а ты сидишь на скамье в два часа дня среди сорока своих товарищей. Но когда ты один посреди моря, ночью, потерявший надежду, слова инструктора кажутся совсем бессмысленными. Я знал одно: ноги мои погружены в чужеродный мир морских животных, и, хотя рубашку мою трепал холодный ветер, я не смел оставить борт плота. По словам инструктора, это самое ненадежное место на плоту, и все же только там я был дальше всего от тех громадных, неведомых существ, которые, я ясно слышал, таинственно проплывали мимо.

В эту ночь я не сразу нашел Малую Медведицу, затерянную в чаще бесчисленных звезд. Казалось, что на всем просторе неба невозможно найти ни одной пустой точки. Но когда я все же нашел Малую Медведицу, никуда больше смотреть мне уже не хотелось. Глядя на нее, я чувствовал себя не таким одиноким. В Картахене, когда получали увольнительную, мы сходились ночью на мосту Манга, и Рамон Эррера пел что-нибудь, подражая Даниэлю Сантосу, а кто-нибудь сопровождал его на гитаре. Сидя на каменном парапете, я видел Малую Медведицу у склона горы Серро де ла Проа. И в ту ночь, когда я сидел на борту плота и смотрел на небо, мне представилось на минуту, будто я на мосту Манга, будто рядом со мной сидит Рамон Эррера и поет под аккомпанемент гитары, и будто Малую Медведицу я вижу не в двухстах милях от берега, а у склона Серро де ла Проа. Я думал также и о том, что, быть может, в Картахене кто-то еще тоже смотрит на Малую Медведицу, и это скрашивало мое одиночество.

В течение всей этой первой ночи ничего не произошло, и, вероятно, от этого ночь была особенно длинной. Трудно описать ночь, проведенную на плоту, если ничего не произошло, если был только страх перед морскими животными и были часы со светящимся циферблатом, на которые невозможно не смотреть каждую минуту. В течение моей первой ночи на плоту я смотрел на часы чуть

ли не каждую минуту. Это была настоящая пытка. Я решил: чтобы меньше зависеть от времени, надо снять часы и положить их в карман. Когда я уже больше не мог терпеть и снова посмотрел на часы, было без двадцати девять. Есть и пить еще не хотелось, и я почувствовал, что вполне в состоянии дожждаться следующего дня, когда прилетят самолеты, но вот часы, казалось мне, могут свести с ума. В отчаянии я снял их с руки и хотел положить в карман, но мне пришло в голову, что лучше будет бросить их в море. Я не мог решиться, а потом испугался: без часов я буду еще более одиноким. Я снова надел их на руку и стал смотреть на циферблат не отрываясь, так же, как днем смотрел до боли в глазах в одну точку на горизонте.

После двенадцати мне уже хотелось плакать. Я не заснул ни на минуту и даже не пытался заснуть. С той же надеждой, с какой вечером ожидал увидеть самолеты на горизонте, я всю вторую половину ночи искал огни кораблей. Долгие часы я вглядывался в ночное море, спокойное, необъятное, тихое, но не видел никаких огней, отличных от мерцания звезд. В предрассветные часы стало холодней, и казалось, что все мое тело излучает жар солнца, накопленный в течение дня под кожей. От холода оно только сильнее горело. После двенадцати начало болеть правое колено, да так, точно соленая вода проникала до самых костей. И однако, все это было где-то далеко. Не о теле своем я думал, а об огнях кораблей. И думал: если в этом бесконечном одиночестве, в этом глухом шуме волн покажутся огни корабля, я крикну так, что меня услышат на любом расстоянии.

На море рассветает не так медленно, как на суше. Небо побледнело, начали исчезать звезды, а я все переводил взгляд с часов на горизонт и обратно. Стали смутно видны контуры моря. Нельзя было поверить, что ночь продолжается столько же, сколько и день, и нужно провести ночь на плоту посреди моря, неотрывно следя за стрелками часов, чтобы убедиться в том, что ночь бесконечно длиннее дня. Но когда вдруг начинает светать, ты чувствуешь такую усталость, что почти не видишь рассвета.

Так было со мной в ту первую ночь на плоту. Когда стало светать, мне уже было все равно. Я не думал ни о еде, ни о питье, не думал ни о чем до тех пор, пока ветер не стал теплее, а поверхность моря не стала золотистой и гладкой. Я не спал всю ночь, но в этот миг почувствовал себя проснувшимся. Я растянулся на плоту, и кости мои заныли. Кожа тоже болела. Но утро было сияющее и теплое, и теперь, при свете дня, в мягком дуновении ветра я почувствовал, что еще способен ждать. И я уже не был одиноким человеком на плоту, и в свои двадцать лет я впервые почувствовал себя совершенно счастливым.

Плот продолжал свое движение, но вокруг все оставалось неизменным, как будто я не двигался с места. В семь часов я подумал об эсминце. Там было время завтрака. Представил себе моряков, сидящих за столом. Они ели яблоки. Потом подадут яичницу. Потом мясо. Потом кофе с молоком. Рот наполнился слюной, и желудок свела судорога. Чтобы отвлечься от этих мыслей, я погрузился на сетчатое дно плота в воду по шею. Вода омыла обожженную спину, и я почувствовал себя здоровым и полным сил. Я долго пролежал там в раздумье, спрашивая себя, зачем я пошел на корму с Рамоном Эррерой, а не остался лежать на своей койке. Я воссоздал в уме, минута за минутой, все подробности трагедии и решил, что вел себя глупо и совершенно случайно оказался жертвой. Я подумал, что мне просто не везет, и от этого сразу стало как-то тоскливей. Но я взглянул на часы и успокоился. Время шло быстро: было уже полдвенадцатого.

Близился полдень, и я вновь вспомнил о Картахене. «Не может быть, чтобы мое исчезновение прошло незамеченным», — думал я. Я даже стал жалеть о том, что забрался на плот; мне представилось, что мои товарищи были спасены, и по вине плота, который отнесло в сторону ветром, я единственный оставшийся в море — мне просто не повезло...

Эта идея еще не успела оформиться до конца, когда мне показалось, что я вижу на горизонте какую-то точку. Я стал на ноги, не сводя глаз с этой

движущейся черной точки. Было без десяти двенадцать. Я смотрел с таким напряжением, что небо заискрилось светящимися точками. Но черная точка продолжала двигаться прямо на меня. Через две минуты я уже хорошо различал ее форму. Двигаясь по сверкающей синеве неба, она вспыхивала иногда слепящим металлическим блеском. Уже болела шея, а глазам было трудно вынести свет неба, но я смотрел не отрываясь: летящий предмет шел точно по направлению к плоту. В эту минуту я не почувствовал себя безмерно счастливым, меня не охватила неистовая радость. Глядя на приближающийся самолет, я ощущал только необыкновенную душевную легкость и спокойствие. Я снял не спеша рубашку. Мне казалось, что я точно знаю, когда именно нужно подать знак. Минуты две я ждал с рубашкой в руке, чтобы самолет приблизился. Он шел прямо на меня. Когда я поднял руку и начал махать рубашкой, я уже явственно различал гул его моторов, перекрывающий шум волн.

У МЕНЯ ПОЯВИЛСЯ СПУТНИК

Я отчаянно махал рубашкой в течение по крайней мере пяти минут. Но скоро увидел, что ошибся: самолет летел вовсе не к плоту. Он пролетел в стороне, и на такой высоте, с которой невозможно было меня заметить. Потом он развернулся, полетел в обратном направлении и стал теряться на горизонте в том самом месте, откуда появился. Я так и остался стоять на плоту, под палящим солнцем, и смотрел, ни о чем не думая, на удаляющуюся черную точку, пока она не растаяла на горизонте. Тогда я сел. Я почувствовал себя несчастным, но надежды не терял и решил как-то защититься от солнца. Я лег на широкий борт лицом вверх и накрыл голову мокрой рубашкой, но старался не заснуть на борту, зная, как это опасно. Я подумал о самолете, и теперь у меня уже не было полной уверенности, что он искал меня.

Тогда, лежа на борту, я впервые испытал пытку жажды. Начинается с того, что густеет слюна и

сохнет глотка. Было сильное искушение выпить морской воды, но я знал, что это только повредит. Позже можно будет попить ее немного. Внезапно я позабыл о жажде. Там, над моей головой, покрывая шум волн, раздался звук самолета. Окрыленный, я вскочил на ноги. Этот самолет приближался оттуда же, откуда первый, и летел прямо на меня. Когда он пролетал надо мной, я снова замахал рубашкой. Но он был слишком высоко. Пролетев мимо, он исчез из виду. Потом он повернул обратно, и я увидел его сбоку. Он летел туда, откуда появился. «Вот теперь явно ищут меня», — подумал я и сел с рубашкой в руке, ожидая новых самолетов.

Мне стало ясно: самолеты появляются и исчезают в одной и той же точке — значит, там земля. Я знал теперь, куда надо направить плот. Но как? Сколько бы плот ни прошел за эту ночь, до берега, наверно, было еще очень далеко. Да и долго ли смог бы я грести, когда от голода у меня в желудке начались спазмы? Особенно же мучила жажда. Даже дышать становилось все труднее.

В 12 часов 35 минут неожиданно появился огромный черный гидросамолет. Он с ревом пронесся над моей головой. Сердце так и подскочило у меня в груди. Я совершенно ясно увидел человека, высунувшегося из кабины и наблюдавшего море в черный бинокль. Самолет пролетел так низко, в такой близости от плота, что мне показалось, будто я всем телом ощутил биение его моторов. Я легко опознал его по знакам на крыльях: это был самолет береговой охраны зоны Панамского канала. Он улетел, но я не сомневался, что человек с черным биноклем видел, как я махал ему рубашкой. «Меня заметили!» — крикнул я, все еще махая рубашкой, и начал прыгать, обезумев от радости.

Не прошло и пяти минут, как опять появился тот же черный самолет. Теперь он летел в противоположном направлении, но на той же высоте. Он летел с креном на левое крыло, и в кабине я вновь увидел того же человека с биноклем в руках. Я замахал рубашкой, теперь уже спокойно, словно приветствуя своих спасителей. По мере приближения самолет стал постепенно снижаться. Некото-

рое время он летел по прямой, почти касаясь воды. Я решил, что он приводняется, и приготовился грести к нему, но вскоре он набрал высоту, развернулся и в третий раз пролетел надо мной. Я подождал, пока он окажется над моей головой, и несколько раз махнул рубашкой. Я ждал, что он еще ниже пролетит над плотом, но произошло обратное — он быстро набрал высоту и скрылся в направлении земли. Но я больше не беспокоился: я был уверен, что меня заметили. Не могло быть, чтобы меня не заметили, когда пролетали так низко над самым плотом. Успокоенный, почти счастливый, я сел на борт и стал ждать.

Прошел час. Я сделал важный вывод: в той стороне, откуда появились первые самолеты, несомненно, была Картахена, а там, где скрылся черный самолет, была Панама. Я рассчитал, что если плыть по прямой, лишь слегка отклоняясь от направления ветра, то можно добраться до берега где-то около курорта Толу.

Я ждал, что не позже чем через час меня спасут, но час прошел, и ничего не произошло. Вокруг все то же синее, чистое и совершенно спокойное море. Прошло еще два часа. И еще час, и другой. А я все сидел неподвижно, наблюдая за горизонтом. В пять часов вечера солнце начало клониться к закату. Я все еще не терял надежды, но уже начал беспокоиться. Я никак не мог понять, отчего они тянут с моим спасением. Горло совсем пересохло, дышать становилось все труднее. Я глядел в забытии на линию горизонта, как вдруг, сам еще не зная почему, подскочил и прыгнул в середину плота. Не спеша, как бы подстерегая добычу, у борта проплавала акула.

Это было первое живое существо, которое я увидел за тридцать три часа плавания на плоту. Плавник акулы на поверхности моря всегда вызывает ужас: всем известна прожорливость этого хищника. Но внешне нет ничего более безобидного, чем плавник акулы. Совсем непохоже, что это часть тела животного, тем более такого хищного. Он темно-зеленый и шероховатый, как кора деревьев. Я глядел, как плавник огибает плот, и мне

представилось, что на вкус он, должен быть, терпкий и сочный, как стебель растения. Наступил шестой час. Вечернее море было спокойно. Теперь у плота была уже не одна акула. Быстро стемнело, и я уже не видел их, но мне казалось, что они движутся вокруг, разрезая водную гладь лезвиями своих плавников. С этих пор я уже не решался садиться на борт после пяти вечера. Следующие дни показали, что акулы очень пунктуальны: они всегда появлялись в начале шестого и исчезали с наступлением ночи.

К вечеру прозрачная вода представляет собой красивейшее зрелище. Плот окружают рыбы всех цветов радуги. Там были огромные желто-зеленые рыбы, рыбы, украшенные синими и красными полосами, и другие, круглые маленькие рыбешки. Они сопровождали плот, пока не становилось совсем темно. Иногда, словно сверкнет металлическая молния, взметнется струя окровавленной воды, и на поверхности остаются ненадолго куски перекушенной акулой рыбы. И тогда несметное множество более мелких рыб набрасывается на эти объедки.

Начиналась моя вторая ночь среди моря, ночь голода, жажды и отчаяния. После растаявшей надежды на самолеты я чувствовал себя совершенно покинутым. Только в ту ночь я наконец понял, что рассчитывать могу только на свою волю и силы. Одно меня удивляло: я чувствовал некоторую слабость, но не чувствовал себя истощенным. Прошло более сорока часов с тех пор, как я пил и ел в последний раз, и более двух суток с тех пор, как я спал, ибо я не спал последнюю ночь перед трагедией, и все-таки я чувствовал, что вполне могу взяться за весла.

Я нашел Малую Медведицу, сориентировался и решил грести. Дул бриз, но не совсем в том направлении, какое было нужно мне, чтобы двигаться, ориентируясь на Малую Медведицу. В десять часов ночи я установил весла и начал грести. Сначала я греб лихорадочно, торопясь, потом стал грести спокойнее, ни на миг не выпуская из поля зрения Малую Медведицу, которая по моим расчетам,

сияла точно над Серро де ла Проа. По плеску воды я почувствовал, что плот движется вперед. Уставая, я скрещивал весла и клал на них голову, чтоб отдохнуть, а потом вновь брался за них с новыми силами и новой надеждой. В полночь я все еще продолжал грести.

К двум часам ночи я совершенно обессилел, скрестил весла и попытался заснуть. К этому времени жажда стала мучить еще сильнее. Голода я не ощущал, но чувствовал себя таким усталым, что положил голову на весло и приготовился умереть. Тогда-то и увидел я матроса Хайме Манхарреса. Он стоял на палубе эсминца и показывал мне пальцем в сторону порта. Хайме Манхаррес, родом из Боготы, был одним из самых старых моих флотских друзей. Я часто думал о товарищах, пытавшихся догнать плот, думал о том, удалось ли им взобраться на второй плот, подобрал ли их эсминец или самолеты. Но о Хайме Манхарресе я не вспомнил ни разу. Тем не менее стоило мне сомкнуть веки, как он возникал передо мной и, приветливо улыбаясь, показывал пальцем в направлении порта; потом я видел его сидящим в столовой, с фруктами и тарелкой яичницы в руках.

Вначале это был просто сон. Я закрывал глаза, засыпал ненадолго, и он неизменно появлялся. Наконец я решил заговорить с ним. Не помню, что я ему сказал и что он ответил, но хорошо помню, что мы беседовали с ним на палубе эсминца, когда вдруг ударила роковая волна и я проснулся, подскочив, и судорожно уцепился за веревочную сеть, чтобы не упасть в море.

К рассвету небо стало темнее. Я не мог спать — у меня не было сил даже для этого. В непроглядном мраке я уже не мог разглядеть противоположный конец плота, но я все смотрел туда, стараясь пробить темноту взглядом. И вдруг я увидел на другом конце борта Хайме Манхарреса. Он сидел в синей рабочей форме и в фуражке, слегка сдвинутой на правое ухо. На ней, несмотря на полный мрак, можно было ясно прочесть: А. R. С. «CAL-DAS».

— Здравствуй, — сказал я, ничуть не удивившись, уверенный, что там действительно сидит Хайме Манхаррес и что он сидел там все время. Я бодрствовал, сознание мое было ясным, и я слышал свист ветра над головой и шум моря, и я ощущал голод и жажду. Одним словом, у меня не было никакого сомнения в том, что Хайме Манхаррес плывет со мной на плоту.

— Почему ты не напился воды на эсминце? — спросил он.

— Потому что мы приближались к Картахене, — ответил я. — Я лежал на корме вместе с Рамоном Эррерой.

Для меня это не было галлюцинацией. Я совсем не боялся. Я только недоумевал, как я мог чувствовать себя одиноким и как мог не знать, что со мной на плоту плывет еще другой человек.

— Почему ты не поел? — спросил Хайме Манхаррес.

Я прекрасно помню свой ответ:

— Потому что мне не дали. Я просил яблок и мороженого, и мне отказали. А я не знал, куда все спрятали.

Хайме Манхаррес ничего не ответил, немного помолчал, а потом опять показал рукой в сторону Картахены. Я посмотрел, куда он показывал, и увидел огни порта, буи гавани, качающиеся на волнах.

— Мы уже близко, — сказал я и продолжал напряженно смотреть на далекие огни без волнения, без особенной радости, как при обычном возвращении. Я предложил Хайме Манхарресу погрести вместе немного. Но его уже не было. Он исчез. Я сидел один на плоту, и огни порта были первыми лучами солнца. Первыми лучами моего нового, третьего дня на море.

ВИДУ КОРАБЛЬ

Вначале я вел счет дням, отмечая в них главные события: первый день, 28 февраля, — день катастрофы. Во второй день прилетали самолеты. Третий

день был самым томительным: не произошло ничего примечательного. Плот двигался, подгоняемый бризом. У меня не было сил грести. Небо заволокло тучами, стало прохладно, и теперь, без солнца, я уже не мог ориентироваться и не знал, с какой стороны могут появиться самолеты. Что касается плота, то он ведь четырехугольный — нет ни носа, ни кормы. Он может плыть в любую сторону, незаметно вращаясь, и если нет ориентира, то невозможно узнать, движется ли он вперед, к земле, или в противоположную сторону. А море одинаково со всех сторон... Бывало, я ложился на заднем борту, по отношению к движению плота (то есть на «корме»), и накрывал лицо рубашкой. Когда вставал и оглядывался вокруг, то плот уже двигался так, что я оказывался лежащим на переднем борту — на «носу». В таких случаях я не мог узнать, изменил ли плот свое направление или же просто повернулся вокруг своей оси. Нечто подобное случилось на четвертые сутки и с подсчетом времени.

В полдень я сделал две вещи: во-первых, вставил весло на одном из бортов, чтобы знать, как будет двигаться плот. Во-вторых, я нацарапал ключами на борту черточки, по одной за каждый прошедший день, и поставил числа. Нацарапал первую черту и поставил цифру 28. Нацарапал вторую и написал 29, а против третьей черты — 30. Это была ошибка: было не тридцатое февраля, а второе марта. Я сообразил это лишь на четвертые сутки, когда стал вспоминать, сколько дней было в прошедшем месяце — 30 или 31. И я вспомнил, что это был февраль, и хотя теперь мне самому смешно, но эта ошибка спутала мое представление о времени. На четвертый день я уже не был вполне уверен, правильно ли веду счет дням. Три дня прошло? Или четыре? А может, пять? Судя по черточкам, прошло три дня, но я не был в этом уверен — точно так же, как не был уверен, в каком направлении движется плот. Я решил оставить все как есть, чтобы не запутаться еще больше. От всего этого я совсем потерял надежду на спасение.

Уже четверо суток я ничего не ел и не пил. Трудно было собраться с мыслями — ни о чем не хотелось думать. Обожженная кожа покрылась волдырями и нестерпимо горела. Инструктор военно-морской базы учил нас, что ни в коем случае нельзя подставлять спину солнечным лучам. Это стало одной из моих главных забот. Я снял с себя мокрую рубашку и обвязал ее вокруг пояса — она слишком раздражала кожу. Я был без воды уже четвертые сутки, и дышать становилось физически трудно — я чувствовал острую боль в горле, в груди и под ключицами. Я решил выпить немного соленой воды. Морская вода не утоляет жажду, но она освежает. Я не пил так долго морскую воду потому, что знал: второй раз надо выпить ее еще меньше и много часов спустя.

Каждый день в начале шестого с удивительной пунктуальностью появлялись акулы. Вокруг плота начиналось пиршество. Огромные рыбы выпрыгивали из воды и через секунду оказывались растерзанными в куски. Обезумевшие акулы стремительно прорезали окровавленную воду. Они еще ни разу не пытались разбить плот, но своим белым цветом он привлекал их внимание. Всем известно, что акулы часто набрасываются на белые предметы. Они близоруки и хорошо видят только белое или блестящее. Инструктор предупреждал нас: надо прятать все яркие вещи, чтобы не привлекать акул. Никаких ярких вещей у меня не было. Даже циферблат моих часов был черным. Но я чувствовал бы себя спокойнее, если бы имел с собой какие-нибудь белые предметы, чтобы бросить их подальше от плота, когда акулам вздумается перевернуть его. На всякий случай, начиная с четвертого дня, я всегда после пяти вечера держал весло наготове, чтобы защищаться от акул.

Ночью я устраивал весло под себя поудобнее и старался заснуть. Не могу сказать, случалось ли это только во сне, но каждую ночь я видел перед собой Хайме Манхарреса. Мы беседовали недолго о чем-нибудь, и затем он исчезал. Скоро я привык к его посещениям. При свете дня я понимал, что это, должно быть, галлюцинации, ночью же не бы-

ло никакого сомнения, что Хайме Манхаррес сидит там, на противоположном борту, и говорит со мной. А на рассвете пятого дня он тоже, как и я, пытался заснуть. Он молчал и клевал носом, пристроившись на другом весле, но вдруг встрепенулся и стал пристально всматриваться в морскую гладь, а потом сказал мне:

— Смотри!

Я поднял глаза и увидел километрах в трех от плота огни, то вспыхивающие, то гаснущие, которые могли принадлежать только кораблю. У меня уже давно не было сил грести, но, увидев огни, я встал и покрепче ухватился за весла. Корабль медленно скользил вперед, и на мгновение я увидел не только огни мачты, но и тень от нее, скользящую по воде.

Ветер оказывал сильное противодействие. Несмотря на отчаянные усилия, я, кажется, не смог ни на один метр изменить направление плота, сносимого ветром. Огни все больше отдалялись. Я покрылся испариной и почувствовал страшную слабость. Через двадцать минут они исчезли совершенно. Звезды стали угасать, а небо посерело. Опустошенный, один среди бесконечного моря, я оставил весла, встал на ноги и несколько минут кричал как безумный...

Когда показалось солнце, я опять лежал на весле. Я был в полном изнеможении. Теперь уж я потерял всякую надежду на спасение, и мне хотелось умереть. Но странное дело: при мысли о смерти я тут же вспоминал о грозящей мне реальной опасности, и неизвестно откуда у меня появлялись силы.

На пятый день я решил, что надо во что бы то ни стало заставить плот изменить направление. Мне взбрело в голову, что, если я буду все время двигаться по ветру, я непременно приплыву к острову, населенному людоедами. В Мобиле в каком-то журнале — название я позабыл — я прочитал рассказ о человеке, который потерпел кораблекрушение и был съеден каннибалами. Но еще сильнее действовала на мое воображение книга «Моряк-отступник», которую я за два года до этого прочитал в Боготе. Это история про моряка. Его корабль

во время войны взорвался на mine. Ему удалось доплыть до какого-то острова, и он провел сутки, питаясь дикими плодами, пока его не обнаружили каннибалы. Они бросили его в котел с кипящей водой и сварили живьем. Меня начали преследовать мысли об этом острове. Я уже не мог представить себе берег без каннибалов. Впервые за пять дней одиночества на море мой страх изменил направление: теперь я боялся не столько моря, сколько земли.

В полдень я лежал на борту, точно погруженный в летаргический сон. От пляющих лучей солнца, от голода и жажды я уже ни о чем не мог думать, утратил всякое чувство времени и направления. Попробовал встать, чтобы испытать свои силы, и увидел, что еле держусь на ногах.

«Конец», — подумал я. Мне показалось, что настало самое страшное из всего, о чем предупреждал нас инструктор: надо привязать себя к плоту. Когда не чувствуешь уже ни голода, ни жажды, не чувствуешь беспощадных укусов солнца на покрытой волдырями коже, не чувствуешь вообще ничего, остается последнее средство: развязать концы сетки и привязать ими себя к плоту. Во время войны было найдено много таких привязанных к плотам трупов, исклеванных птицами и разложившихся.

Но я решил, что у меня еще хватит сил дожидаться ночи, не привязывая себя к плоту. Я опустился в середину плота, растянулся там, погрузившись по шею в воду, и пролежал так несколько часов. От соленой воды начало болеть раненое колено. И тут я будто очнулся: ощущение боли вернуло меня к действительности. Мало-помалу прохлада воды возвращала силы. Вдруг я почувствовал сильную резь в животе. Хотел стерпеть, но не смог. С большим трудом я встал, расстегнул ремень, спустил брюки... Я почувствовал большое облегчение. Это было в первый раз за пять дней, и в первый раз рыбы начали отчаянно биться о крепкую веревочную снасть, стараясь разорвать ее.

Вид рыб, таких близких и блестящих, возбуждал во мне голод. Впервые меня охватило настоящее отчаяние. Но сейчас у меня, по крайней мере,

была приманка. Я позабыл о своей слабости, схватил весло и приготовился. Я решил вложить последние силы в один точный удар и оглушить какую-нибудь из рыб. Не помню, сколько раз я ударил веслом. Я чувствовал, что попадаю, но каждый раз напрасно пытался разглядеть жертву. Около меня шло жуткое пиршество рыб, пожиравших друг друга. Хватая свою долю в бурлящей воде, скользила кверху брюхом акула...

Заметив акулу, я отказался от своей затеи, бросил весло и, потеряв надежду на успех, растянулся на борту. Но прошло всего несколько минут, и меня охватила неистовая радость: над плотом летали семь чаек.

Для голодного моряка, одиноко дрейфующего среди пустыни моря, чайки — весточка надежды. Обычно корабли провожает целая стая чаек, но только до второго дня плавания. Семь чаек над плотом — верный знак близости земли. Тут бы взяться за весла, но я едва мог простоять на ногах несколько минут. В полном убеждении, что я приближаюсь к земле, что до нее остается не более двух дней плавания, я зачерпнул рукой и попил еще немного морской воды, и снова лег лицом вверх, чтобы солнце не жгло спину. Я не накрыл лицо рубашкой — хотелось смотреть на чаек. Они летели в форме острого угла не спеша в сторону севера. Был второй час пополудни пятого дня моего плавания.

Я не заметил, как она появилась. Время приближалось к пяти, и я собирался спуститься в середину плота до появления акул. Тогда-то я и увидел маленькую чайку. Летая вокруг плота, она то и дело садилась ненадолго на другой конец борта. Рот наполнился холодной слюной. Мне нечем было поймать эту чайку. У меня ничего не было, кроме рук и хитрости, обостренной голодом. Остальные чайки исчезли, и осталась только эта маленькая, с блестящим оперением кофейного цвета. Она прыгала по борту.

Я лежал, совершенно неподвижно. Мне казалось, что моего плеча касается плавник акулы, которая с пяти часов наверняка уже на своем месте.

Но я решил рискнуть. Я не смел даже следить за полетом чайки, чтобы она не заметила движения моей головы. Она пролетела совсем низко надо мной. Я видел, как она удалилась и исчезла в небе. Но я не терял надежды. Я не думал о том, что мне придется ее растерзать. Знал только одно: я голоден, и если буду лежать совершенно неподвижно, то рано или поздно чайка приблизится к моей руке.

Я ждал, кажется, более получаса. Несколько раз она прилетала и вновь улетала. Был момент, когда я почувствовал близ своей головы рывок акулы, заглатывающей свою жертву. Но вместо страха я лишь острее ощутил голод. Чайка прыгала по борту. Это был пятый вечер моего дрейфа. Пять дней без еды! Я страшно волновался, казалось, что сердце вот-вот выпрыгнет из груди, но, когда я почувствовал, что чайка приближается, я остался лежать неподвижно, как мертвый. Я лежал на широком борту, и я уверен, что в течение получаса не посмел даже моргнуть. Небо сияло, и было больно смотреть на него, но напряжение все росло, и я не решался закрыть глаза: чайка начала клевать мой ботинок. Прошло еще полчаса напряженного ожидания, прежде чем я почувствовал, что чайка забралась мне на ногу, а потом слабо клонула раз другой мои брюки. Я продолжал лежать в совершенной неподвижности, и тут она вдруг сильно клонула меня в раненое колено. Я чуть вздрогнул от боли, но сдержался. Потом она двинулась по правому бедру и остановилась в пяти-шести сантиметрах от моей руки. Тогда я прервал дыхание и как можно незаметней с отчаянным напряжением стал подвигать к ней свою руку...

ОТЧАЯННЫЕ ПОПЫТКИ УТОЛИТЬ ГОЛОД

Если лечь посреди площади в надежде поймать чайку, можно пролежать там всю жизнь и ничего не поймать. Но совсем другое дело — в сотне километров от берега. У чаек инстинкт самосохранения обострен лишь на земле, в открытом море эти

птицы очень доверчивы. Я лежал так тихо, что маленькая игривая чайка, которая забралась мне на ногу, решила, наверное, что я мертв. Я видел ее на своем бедре, она клевала меня через брюки, не причиняя никакой боли, и я все ближе подвигал свою руку. Чайка заметила опасность и хотела улететь, но я резким движением схватил ее за крыло и прыгнул в середину плота в полной решимости немедленно съесть ее. Когда я терпеливо ждал, чтобы она села мне на ногу, я был абсолютно уверен, что, если удастся поймать чайку, я съем ее живьем вместе с перьями. Уже одно представление о крови этой птицы возбуждало жажду. Но теперь, когда я держал ее в руках, когда почувствовал, как бьется ее теплое тело, посмотрел в ее круглые и блестящие глаза, меня охватило сомнение.

Как-то я стоял на палубе с карабином в руках, думая подстрелить одну из чаек, летавших над кораблем. Один из офицеров, бывалый моряк, сказал мне: «Не будь жестоким. Видеть чайку для моряка все равно что видеть землю. Недостойно моряка убивать чаек». И хотя в течение пяти дней я ничего не ел, слова эти по-прежнему, смущая меня, звучали в моих ушах. Но голод оказался сильнее. Я взял птицу за голову и, как курице, начал скручивать ей шею. Она оказалась совсем хрупкой: шейные позвонки захрустели при первом моем движении, а потом я ощутил на пальцах теплую, живую кровь. Мне было жаль ее. Я чувствовал себя убийцей. Голова, еще трепещущая, осталась у меня на ладони. Струя крови окрасила воду внутри плота и раздражила рыб. Белое, блестящее брюхо акулы мелькнуло рядом с плотом. В таких случаях обезумевшая от запаха крови акула способна перекусить стальную пластину. Челюсти акулы расположены снизу, и ей нужно перевернуться, чтобы проглотить добычу, но так как она близорука и очень прожорлива, то, атакуя сверху брюхом, сметает все, что попадает на ее пути. Мне показалось, что в этот раз акула хотела напасть на плот. Испугавшись, я бросил ей маленькую, не больше яйца, голову чайки; громадные рыбы за бортом немедленно вступили из-за нее в бой не на жизнь, а на смерть.

Прежде всего я принялся ощипывать чайку. Тепло ее было очень нежным, а кости — такими хрупкими, что можно было сломать их пальцами. Я старался выдергивать перья как можно осторожней, но они плотно сидели в нежной белой коже, так что вырывал их я вместе с мясом. Темная и липкая плоть вызывала отвращение. Легко рассуждать, что после пятидневного голода можно съесть что угодно, но, как бы ты ни был голоден, мешанина из перьев и теплой крови, остро пахнувшая рыбой, может вызвать тошноту. Пока я ее ощипывал, она совсем расползлась. Я прополоскал внутри плота и резким движением вскрыл ее. От одного вида розовых и синеватых внутренностей меня передернуло. Я сунул в рот продолговатый кусочек мяса, но так и не решился проглотить его: мне казалось, что я жую лягушку. Я не сумел преодолеть отвращение, выплюнул все, что было во рту, и долго сидел неподвижно с этим сгустком разорванного мяса и окровавленных перьев в руке. Я мог бы использовать мясо чайки как приманку для ловли рыб, но у меня не было никакой снасти. Была бы хоть булавка или кусок проволоки! Но не было ничего, кроме ключей, часов, золотого кольца и трех проспектов из мобилского магазина. Я подумал о ремне, попытался сделать из пряжки что-то вроде крючка, но все мои усилия оказались напрасными. Невозможно сделать из ремня рыболовную снасть. Начинало смеркаться, и рыбы, почуввав кровь, прыгали вокруг плота. Когда совсем стемнело, я выбросил остатки убитой чайки за борт, прилег на весло и приготовился умереть.

Я действительно мог умереть в ту ночь от истощения и отчаяния. Поднялся сильный ветер. Плот опять подбрасывало на волнах, а я, даже не подумав о том, чтобы привязать себя к сетке, лежал на днище, и только моя голова и согнутые колени высывались из воды. Но после полуночи наступила перемена: появилась луна. Она появилась впервые со времени катастрофы. В голубом свете луны море приобретает иной, более призрачный вид. В эту ночь Хайме Манхаррес не пришел ко мне. Я был один на дне плота, наедине со своей

судьбой. Но почему-то всегда получалось так, что, когда надежда и воля к жизни покидали меня, обязательно происходило что-нибудь пробуждавшее во мне новую надежду. В ту ночь это был отблеск луны на волнах. Море взыграло, и в каждой волне мне чудились огни кораблей. Две последние ночи я совсем не думал о кораблях. Но в течение всей этой лунной ночи — моей шестой ночи на море — я вглядывался в горизонт почти с той же настойчивостью и надеждой, как и в первую ночь. Окажись я теперь снова в таком же положении, я умер бы от отчаяния; теперь-то я знаю, что там, где проплывал плот, корабли не появляются.

Я смутно помню утро шестого дня. Вспоминаю лишь как в тумане, что все утро пролежал на дне плота и был между жизнью и смертью. В такие минуты я всегда думал о родном доме и, как оказалось, довольно точно представлял себе жизнь родных без меня. Например, я совсем не удивился, когда узнал, что они отслужили по мне панихиду. Я как раз думал об этом в утро шестого дня. Я понимал, что им давно сообщили о моем исчезновении. Самолеты больше не появлялись, и это значило, что от дальнейших поисков отказались и объявили меня погибшим. И они были очень недалеко от истины. Я делал все, что мог, чтобы выжить, мне было достаточно самого ничтожного повода, чтобы воспрянуть духом и надеяться, но на шестой день надежда покинула меня. Я был трупом, плывущим на плоту.

К вечеру, вспомнив, что скоро появятся акулы, я решил сделать последнее усилие и встать, чтобы привязать себя к плоту. В Картахене два года назад я видел то, что осталось от человека, на которого напала акула. Мне не хотелось быть разорванным на части стаей этих хищных и прожорливых рыб.

Около пяти вечера пунктуальные акулы уже шныряли вокруг плота. С огромным трудом я встал, чтобы попытаться развязать концы веревочной сетки. Дул свежий ветер, море было спокойно. Я почувствовал себя немного лучше. Вокруг я опять увидел тех же самых семь чаек, и вновь пробудилось во мне желание жить. Голод мучил меня.

В эту минуту я бы съел все, что угодно. Но хуже всего было пересохшее горло и онемевшие до боли челюсти. Надо было пожевать что-то. Я подумал было о каучуке моих ботинок, но отрезать его было нечем. Тогда я вспомнил о рекламных проспектах. Они лежали в кармане брюк и почти расползлись от воды. Я оторвал клочок, сунул в рот, начал жевать, и... произошло чудо — рот наполнился слюной, и боль в горле стала слабее. Я продолжал медленно жевать. Вначале заломило в челюстях, но потом, перемалывая зубами проспекты, случайно оставшиеся у меня, я оживился, почувствовал себя бодрее. Я решил жевать их как можно дольше, чтобы избавиться от боли в челюстях. Мне показалось расточительством выплюнуть в море прожеванное. Кашица из жеваного картона медленно спустилась в желудок, и с этой минуты мне уже не казалось, что я должен погибнуть, что меня разорвут акулы.

Картонная кашица явно пошла мне на пользу — моя мысль лихорадочно заработала. Я стал думать, что бы еще мне пожевать. Будь у меня нож, я бы изрезал на куски подошвы моих ботинок и стал бы жевать их — самое соблазнительное из всего, что было у меня под рукой. С помощью ключей я попробовал оторвать чистую белую подошву, но из этого ничего не вышло. Я впился зубами в ремень и кусал его до боли в зубах, но не удалось оторвать ни кусочка... Кусая ботинки, ремень, рубашку, я, наверное, выглядел зверем.

Когда стемнело, я снял с себя мокрую одежду и остался в одних трусах. Не знаю отчего — может, от съеденных проспектов, — но я быстро заснул. То ли привыкнув к превратностям жизни на плоту, то ли от долгой бессонницы, я спал в эту ночь глубоким сном. Иногда удар волны будил меня, мне казалось, что вода смывает меня за борт, и я подскакивал в испуге, но тут же засыпал снова.

Наконец наступило утро моего седьмого дня в открытом море. Почему-то я был уверен, что день этот не последний. Море утихло, но небо заволочло тучами. Когда часам к восьми выглянуло солнце, я почувствовал, что продолжительный сон влил в ме-

ня силы. На фоне нависшего свинцового неба летали семь чаек. Увидев их в третий раз, я не обрадовался, как прежде, а, наоборот, испугался. «Это заблудившиеся чайки», — подумал я с тоской. Моряки знают, что иногда стая чаек может заблудиться среди моря и кружить несколько дней над волнами, пока не увидит корабль, следуя за которым сможет вернуться к земле. Быть может, все три дня я в самом деле видел одну и ту же заблудившуюся стаю. Это означало бы, что с каждым днем я удаляюсь от земли все дальше и дальше.

БОРЬБА С АКУЛОЙ ИЗ-ЗА РЫБЫ

Мысль о том, что в течение семи дней я не только не приблизился к земле, но все больше от неё удаляюсь, подорвала мою волю к сопротивлению. Но когда человек на краю гибели, у него всегда срабатывает инстинкт самосохранения. По разным причинам тот день — мой седьмой день на плоту — оказался непохожим на все другие дни. Море было спокойное и темное. Солнце не жгло мне кожу, а светило мягко и ласково, и теплый бриз легко подталкивал плот и облегчал боль обожженного тела. Рыбы тоже стали совсем другими. Они с утра сопровождали плот и плавали у самой поверхности. Я видел их совершенно отчетливо, голубых, бурых, красных, самых разных цветов, формы и величины. Плот мой плыл, точно в аквариуме. Владевшее мною отчаяние почему-то уступило место душевному успокоению. У меня было чувство, что все переменилось, что море и небо перестали быть враждебными и что сопровождающие меня рыбы — мои старые друзья.

В то утро я уже не надеялся увидеть землю. Я считал, что плот унесло далеко в сторону от морских путей, туда, где могут заблудиться даже чайки, и мне стало казаться, что я в конце концов могу привыкнуть к морю, к моему печальному существованию на плоту и смогу продолжать его без больших умственных усилий. Прожил же я, не смотря ни на что, целую неделю — так почему же

мне не жить и дальше на своем плоту? Море было чистое и спокойное, а вокруг плавало столько соблазнительно красивых рыб, что казалось, можно хватать их горстями. Акул нигде видно не было. Я смело сунул руку в воду и попытался схватить круглую, с синеватым отливом рыбу длиной не больше 20 сантиметров. Получилось так, будто я бросил в воду камень,— все до единой рыбы мгновенно ушли в глубину. Они исчезли в забурлившей воде, а потом одна за другой стали снова подниматься к поверхности. Чтобы поймать рукой рыбу, надо было действовать проворнее — рука под водой плохо слушалась, теряла силу. Наметив себе какую-нибудь из рыб, я хватал ее, но она выскальзывала из руки с быстротой, приводившей меня в замешательство. Я занимался ловлей довольно долго, ни о чем не тревожась и совсем не думая об акуле, которая, может быть, там, в глубине, ждет, пока я суну руку в воду по локоть, чтобы вмиг откусить ее. Так продолжалось до начала одиннадцатого. Рыбы пощипывали кончики моих пальцев, сначала слабо, как бывает, когда пробуют наживку, а потом все сильней. Полуметровая рыба, гладкая и серебристая, с мелкими и острыми зубами, раздрала мне кожу на большом пальце. Осматривая рану, я заметил, что и другие укусы были не совсем безобидными: на всех пальцах оказались маленькие кровоточащие ранки.

Не знаю, кровь ли мою они почуяли или что-нибудь еще привело их, но через минуту плот окружили акулы. Никогда я не видел такого множества акул, никогда еще не наблюдал таких ярких проявлений кровожадности этих хищников. Они прыгали, как дельфины, преследуя и заглатывая свои жертвы. Я сидел посередине плота и в ужасе смотрел на это побоище. Внезапно выпрыгнувшая из воды акула ударила мощным хвостом по воде, и плот, покачиваясь, утонул в белой пене. Что-то блеснуло молнией, я инстинктивно схватил весло и приготовился ударить: я решил, что ко мне на плот прыгнула акула. Но я тут же увидел торчащий за бортом акулый плавник и понял, что в середину плота, преследуемая акулой, прыгнула блестящая зеленоватая рыба сантиметров в

пятьдесят длиной. Собрав все свои силы, я ударил ее веслом по голове. Оказалось, что не так-то просто убить такую рыбу внутри плота. От удара плот закачался, и я чуть не свалился за борт. Минута была решительная: если я стану безудержно махать веслом, я могу упасть в воду, кишашую голодными акулами. Но медлить было тоже нельзя: рыба могла выпрыгнуть из плота. Я был между жизнью и смертью: мог отправиться в пасть акуле или же получить два килограмма свежей рыбы и утолить семидневный голод. Я прижался к борту, ударил во второй раз и почувствовал, как весло проломилло голову рыбе. Плот закачался, под ним засуетились акулы, но я плотно прижался к борту. Рыба была еще жива и в последнем предсмертном рывке могла прыгнуть очень далеко. Одним движением я съехал на дно плота — там я мог зажать рыбу между ног или, если понадобится, вцепиться в нее зубами. Стараясь не промахнуться, зная, что от этого зависит моя жизнь, я, собрав все свои силы, опустил весло. Рыба осталась неподвижной, а воду окрасила струйка темной крови. Я почувствовал запах крови, но его почуяли и акулы. И вот, сжимая в руках двухкилограммовую рыбу, я затрясся от страха: акулы таранили плот. С минуты на минуту плот мог перевернуться, и тогда три ряда зубов, которыми усажена каждая челюсть акулы, моментально растерзали бы меня. И все же голос желудка оказался сильнее страха. Зажав рыбу между ног, я после каждого толчка старался как мог приводить плот в равновесие. Так продолжалось несколько минут. Время от времени я выплескивал окровавленную воду за борт. Постепенно вода внутри плота очистилась, и акулы успокоились. Но следовало быть начеку: из воды более чем на метр торчал акулий спинной плавник невиданных размеров. Я никогда не видел ничего подобного. Акула вела себя мирно, я знал, что если она почует кровь, то перевернет плот одним ударом хвоста. С большими предосторожностями я принялся вскрывать свою добычу.

Полуметровая рыба защищена броней из крепкой чешуи. Снять ее мне было нечем. Попробовал ключами, но не смог отделить даже одной чешуйки. Я никогда прежде не видел такой рыбы. Она

была ярко-зеленого цвета, с очень плотной чешуей. Зеленый цвет с детства ассоциировался у меня с ядовитостью. Может показаться невероятным, но, несмотря на то, что в предвидении куска свежей рыбы желудок мой начал болезненно сокращаться, я остановился в нерешительности при мысли, что эта необычная рыба может оказаться ядовитой.

Если нет никакой надежды получить пищу, голод, оказывается, еще терпим. Но никогда голод так не мучил меня, как в этот раз, когда я сидел на днище плота и пытался разодрать ключами зеленое блестящее тело рыбы. Скоро я понял, что надо действовать энергичнее. Я встал, наступил на рыбу ногой и сунул угол весла ей под жабры... Рыба все еще была жива, я снова ударил ее по голове. Потом попытался сорвать прикрывающий жабры твердый панцирь, и я уже не знал, чья кровь течет по моим рукам, рыба или моя собственная: кожа на пальцах была ободрана до мяса.

Кровь снова встревожила акул, и я, чувствуя отвращение к окровавленной рыбе, опять, как это ни странно, был близок к тому, чтобы бросить ее акулам, как поступил с маленькой чайкой. Меня удручало мое бессилие. Осмотрев рыбу со всех сторон, я наконец нашел лазейку под жабрами, просунул туда палец и извлек внутренности. Как у всех рыб, внутренности у нее были дряблые и пустые. Говорят, что, если плывущую акулу сильно дернуть за хвост, желудок и кишечник вывалятся у нее из пасти. В Картахене я видел подвешенных за хвост акул, из пасти которых свисал темный слизистый мешок внутренностей.

Я легко выпотрошил пальцем свою рыбу. Это была самка: среди кишок я увидел гирлянды икринок. Закончив эту операцию, я впился зубами в брюшину. Прогрызть чешуйчатый покров было трудно. Я сжал зубы до боли в челюстях, и только тогда удалось оторвать первый кусок. Я начал жевать холодное жесткое мясо. Мне всегда был противен запах сырой рыбы, но вкус ее оказался еще противнее. Но уже первый кусок принес мне облегчение. Я вырвал зубами новый. За минуту до этого я думал, что способен съесть целую акулу, но

уже после второго куска почувствовал себя сытым. Мой страшный семидневный голод был утолен в одну минуту. Ко мне вернулись силы. Теперь я знаю, что сырая рыба утоляет жажду — раньше я этого не знал. Но факт был несомненный: я утолил не только голод, но и жажду. Довольный и ободренный, я подумал, что если два куска полуметровой рыбы смогли насытить меня, то теперь я обеспечен питанием на много дней. Я решил завернуть ее в рубашку и оставить в воде, чтобы подольше сохранить ее свежей, но сначала решил промыть ее. Я окунул рыбу в воду за бортом. В чешуе запеклась кровь, и надо было хорошенько прополоскать рыбу и протереть ее. Я снова без всяких предосторожностей окунул ее в воду и тут же почувствовал рывок акулы и скрежет ее челюстей. Я крепко сжал рыбу в руках; хищник дернул, я потерял равновесие и ударился о борт, но не отпустил свою рыбу. Я тоже пришел в ярость. Совсем не думая о том, что акула может схватить выше и откусить мне руку по локоть, я изо всех сил дернул рыбу к себе, но в руках уже ничего не было — акула унесла мою добычу. Вне себя от злости и отчаяния, я схватил весло и, когда акула вновь подплыла к плоту, ударил ее по голове. Акула выпрыгнула, перевернулась в воздухе и, сухо щелкнув челюстями, перекусила конец весла и проглотила его. В бешенстве я продолжал бить по воде сломанным веслом.

ЦВЕТ ВОДЫ МЕНЯЕТСЯ

Время приближалось к пяти вечера. Через несколько минут должно было появиться множество акул...

Вечер был такой же, как и в другие дни, но наступившая ночь оказалась темней обычного. Море взволновалось. Собирался дождь. Думая, что скоро у меня будет питьевая вода, я снял рубашку и ботинки, чтобы было во что набрать ее.

К девяти часам подул холодный ветер. Я попытался спрятаться от него, опустившись в середину

плота, но это не помогло: холод пронизывал меня до костей. Пришлось снова надеть рубашку и ботинки. Волны вздымались выше, чем 28 февраля, в день катастрофы. Плот опять бросало, как скорлупку, в темном бурлящем море. Спать я, конечно, не мог. Погрузился в воду по шею, потому что воздух становился все холодней. Я весь дрожал, мне показалось, что я не выдержу такого холода, и, чтобы согреться, я начал делать гимнастические упражнения. Но оказалось, что я слишком слаб для этого. Я как мог цеплялся за борт, чтобы не свалиться в море. Голову я положил на сломанное весло, два других весла лежали на дне плота.

Незадолго до полуночи ветер усилился, небо стало плотным и почти черным. Воздух стал влажным, но не упало ни одной капли. В начале первого ночи огромная волна, такая же, как та, что смыла все с палубы эсминца, подбросила плот, точно банановую кожуру, и мгновенно перевернула его. И опять, как и в тот день, я очнулся уже в воде, лихорадочно выгребая кверху. Выплыв на поверхность, я чуть не умер от ужаса: плота нигде не было видно. Я увидел над собой лишь громадные черные волны и на мгновение вспомнил Луиса Ренхифо, сильного человека и хорошего пловца, который так и не смог догнать плот, хотя был от него всего в трех метрах. Однако я просто смотрел не в ту сторону. Пустой плот покачивался на волнах позади меня, совсем рядом. Я повернулся, догнал его в два взмаха. Два взмаха — дело двух секунд, но это были страшные секунды. Я был до того испуган, что через мгновение уже лежал на дне плота. Сердце бешено стучало в груди, и я задыхался.

Я не мог пожаловаться на свою судьбу. Если бы плот перевернулся в пять часов вечера, меня бы разорвали на части акулы, но в двенадцать ночи хищники мирно плавают в глубине, особенно если море неспокойно.

Когда я пришел в себя, я увидел, что держу в руках сломанное весло. Все случилось неожиданно, и мои движения были совершенно инстинктивными. Я вспомнил, что, падая в море, ударился о

весло головой и схватил его, когда уходил под воду. Другие два весла остались за бортом. Чтобы не потерять обломок последнего весла, я привязал его к сетке одним из свободных концов. На этот раз мне повезло, я спасся, но море продолжало бушевать, и плот мог перевернуться снова. Думая об этом, я расстегнул ремень и привязал себя к сетке.

Ветер не утихал. Плот метался по вспененному морю, но теперь я чувствовал себя в безопасности. О весле я тоже не беспокоился. Следя за тем, чтобы плот не перевернулся, я вспомнил, что, если бы холод не заставил меня надеть рубашку и ботинки, я потерял бы их вместе с двумя веслами. Что такой плот, как мой, перевернулся в бурном море, было вполне естественно. Он сделан из пробки и обтянут тканью, окрашенной в белый цвет. Днище прикреплено к пробковой раме не наглухо: оно висит на сетке, образуя корзину. Сколько бы плот ни переворачивался, днище всегда принимает одно и то же нормальное положение. Единственная опасность — потерять плот, но теперь я был привязан к нему и считал, что могу быть спокоен. Однако кое-чего я не учел. Прошло пятнадцать минут, и плот перевернулся еще раз. Сначала я взлетел высоко и оказался в шквале холодного и влажного ветра. Я увидел глубокую впадину и понял, в какую сторону сейчас перевернется плот. Я рванулся было к другому борту, чтобы выровнять его, но ничего не вышло: слишком крепко я был привязан. В следующую секунду плот перевернулся, и я оказался под ним. Я задыхался, и мои руки судорожно искали пряжку ремня, чтобы поскорее расстегнуть ее. Времени у меня было мало. В хорошем физическом состоянии я могу продержаться под водой больше восьмидесяти секунд. С момента, когда я оказался под плотом, прошло не меньше пяти секунд. Пошарив вокруг пояса, я нашел ремень. Затем пряжку — она находилась у самой сетки. Надо было подтянуться одной рукой, чтобы ослабить натяжение. Я не сразу нашел, за что ухватиться покрепче, а когда нашел, подтянулся левой рукой, а правая отстегнула пряжку. Я почувствовал себя свободным. Высунув руку из воды, я ухватил-

ся за верхний край борта и стал подтягиваться. Я не успел вдохнуть воздуха, как плот снова перевернулся, теперь уже с моей помощью. Я глотал воду; горло, истерзанное жаждой, мучительно горело, но я не обращал на это внимания: главное было не отпустить плот. Наконец мне удалось высунуть голову из воды и глотнуть свежего воздуха. Я был в полном изнеможении. Не верилось, что хватит сил взобраться на плот. Но в то же время страшно было оставаться там, где еще недавно плавали акулы. Я внушил себе, что это будет последним сверхусилием, которое потребуется в моей жизни, подтянулся обеими руками и свалился в середину плота. Трудно сказать, сколько времени пролежал я без движения, страдая от острой боли в глотке и в стертых до крови концах пальцев. Помню, у меня было две заботы: дать легким отдохнуть и не дать плоту вновь перевернуться.

Наступил рассвет моего восьмого дня на море. Утро было ненастное. Если бы пошел дождь и у меня не хватило бы сил собрать воду, то, по крайней мере, он освежил бы меня. Но хотя воздух был насыщен влагой, так ни капли и не выпало. Море успокоилось только в девятом часу. Выглянуло солнце, и небо вновь стало ярко-синим.

Чувствуя себя совершенно истощенным, я выпил несколько глотков морской воды. Я прибегал к этому только тогда, когда боль в глотке становилась невыносимой. После семи дней ощущение жажды меняется: чувствуешь глубокую боль в горле и в груди, особенно под ключицами, и еще мучает удушье. Морская вода облегчала боль.

После ненастья море становится синим, как на картинках. У берега тихо покачиваются на волнах вырванные с корнем деревья. Над морем появляются чайки. В то утро, когда ветер утих, поверхность моря сделалась гладкой, как полированный металл, и плот мягко скользил по воде. Теплый воздух укрепил мое тело и мой дух.

Старая чайка, большая и темная, пролетела над плотом. Тогда у меня не осталось никакого сомнения, что земля уже близко. Ведь тяжелая старая чайка не залетит далеко от земли. Во мне снова пробудилась

надежда. Я стал, как в первые дни, вглядываться в горизонт. Отовсюду летели чайки, их было очень много. Это обрадовало меня. Теперь у меня были спутники. Голод пропал. Я чаще прежнего стал пить по одному глотку морскую воду. Видя чаек над головой, я забывал о своем одиночестве. Я вспомнил о Мэри Эддрес. «Где она теперь?» — спрашивал я себя. Как раз в тот день, когда я безо всякой видимой причины вспомнил о Мэри Эддрес (может быть, потому, что летали чайки), она, оказывается, была в католической церкви и заказывала молебен за упокой моей души. Как она потом писала, молебен читали именно на восьмой день после моего исчезновения. За упокой моей души... Думаю, что и за покой моего тела, потому что в тот день, когда вспомнил о Мэри, а она была в церкви Мобила, я чувствовал себя счастливым среди моря, глядя на чаек — вестников земли.

Почти весь день я просидел на борту, наблюдая за горизонтом. День был необыкновенно ясным. Я был уверен, что смогу увидеть землю на большом расстоянии. Плот скользил по воде очень быстро: думаю, что даже двое гребцов с четырьмя веслами не смогли бы придать ему такую скорость.

После семи дней плавания на плоту человек может заметить самое незначительное изменение цвета воды. Седьмого марта в 3 часа 30 минут дня плот входил в иную область моря: вода из синей становилась темно-зеленой. В одном месте я даже увидел границу: по одну сторону поверхность моря была синей, как в течение всех дней до этого; по другую сторону — зеленой и как бы более плотной. Небо было усеяно чайками, низко пролетавшими надо мной. Я слышал шум от взмахов их сильных крыльев. Все это были первые признаки. Я подумал, что в предстоящую ночь придется не спать, чтобы вовремя заметить береговые огни.

НАДЕЖДЫ УТРАЧЕНЫ

Старая чайка села на плот в девять вечера и оставалась на нем всю ночь. Я лежал спиной на сломанном весле — единственном, которое у меня

осталось. Ночь была спокойная, и плот двигался по прямой в неизвестном направлении. «Куда его прибьет?» — спрашивал я себя в полной уверенности, что на следующий день, судя по всем признакам, я достигну земли.

Я не был уверен, что плот сохранил первоначальное направление...

Около полуночи, когда меня стал одолевать сон, старая чайка подошла и начала клевать меня в голову. Клевала она совсем не больно, не причиняя голове никакого вреда, лишь слегка прикасаясь к ней. Я вспомнил слова бывалого моряка и почувствовал угрызения совести: напрасно я убил маленькую чайку.

Я наблюдал за горизонтом до самого рассвета. Ночь была теплой. Я так и не увидел ни единого огонька, никаких признаков земли. Когда я лежал неподвижно, чайка, казалось, засыпала. Я опускал голову на грудь, и она тоже переставала двигаться, но стоило мне пошевелиться, как она подпрыгивала на месте и опять начинала клевать меня в голову.

На рассвете я переменял положение. Теперь чайка оказалась у меня в ногах, и я почувствовал, как она клюет мои ботинки. Потом она пошла по борту к моей голове. Я не двигался. Чайка тоже остановилась, а потом пошла дальше и приблизилась вплотную к моей голове. И снова, как только я пошевелился, она почти с нежностью стала клевать меня в волосы. Это было похоже на игру. Я несколько раз менял свое положение на плоту, и чайка вновь и вновь подходила к моей голове. На рассвете я уже без всяких предосторожностей протянул руку и схватил чайку за шею.

Я не собирался убивать ее — это значило бы зря погубить вторую чайку. Я был голоден, но мне бы в голову не пришло утолить голод этим дружелюбно настроенным существом, проведенным рядом со мной всю ночь и не сделавшим мне ничего дурного. Когда я схватил ее, она расправила крылья и шумно захлопала ими, пытаясь освободиться. Я сложил ей крылья сверху, чтобы она перестала дергаться, тогда она выпрямила шею, и в первых лучах нового утра я увидел ее глаза, прозрачные и

испуганные. Если бы я и собирался растерзать ее, то, увидев ее большие печальные глаза, все равно отказался бы от такого намерения.

Скоро поднялось солнце, такое палящее, что воздух накалился уже с самого утра. Я все лежал с чайкой в руках. Море оставалось таким же густозеленым, как накануне, но нигде не было никаких признаков берега. Воздух стал горячим и душным. Я отпустил свою пленницу. Она тряхнула головой, стремительно взмыла вверх и через какие-то секунды была уже в стае.

Солнце в то утро — мое девятое утро на плоту — жгло, как никогда прежде. Я все время старался уберечь спину от лучей, и все же она была вся в волдырях. Я убрал весло, на которое опирался, и погрузился в воду: я не мог уже прикасаться спиной к древесине. Плечи и руки тоже были в ожогах, я не мог до них дотронуться — собственные пальцы казались мне раскаленными углями. Глаза тоже сильно воспалились, и я не мог смотреть в одну точку: небо сразу же покрывалось ослепительно яркими кругами. До этого я особенно не задумывался о состоянии, до которого я дошел, а ведь я был изувечен, почти разрушен морской водой и палящими лучами солнца. С руки я легко снимал целые ленты кожи. Поверхность тела под кожей была красная, глянцевиная. Через некоторое время оголенное место начинало болезненно пульсировать и сквозь поры сочилась кровь.

Я забыл также о своей щетине. Не брился я уже одиннадцать дней. От малейшего прикосновения к густой щетине кожа лица, раздраженная солнцем, начинала страшно болеть. Я осмотрел свое тело, покрытое ожогами, представил себе, как исхудало мое лицо, и вспомнил, сколько пришлось мне перестрадать за эти дни одиночества и отчаяния. Вновь мною овладело уныние. Наступил полдень, и я потерял надежду достигнуть земли. Я знал: как бы скоро ни двигался плот, он все равно не достигнет земли раньше наступления ночи, если еще не стало видно береговой полосы.

Радость, которую я испытывал последние двенадцать часов, бесследно исчезла за какую-нибудь минуту. Силы покинули меня, и я на все махнул рукой. Впервые за девять дней я лег на борт ничком и, уже не испытывая никакой жалости к своему телу, подставил лучам солнца обожженную спину. Я знал, что если буду лежать так, то еще до наступления вечера неминуемо погибну.

Наступает момент, когда уже перестаешь чувствовать боль, когда сознание притупляется и ты теряешь всякое представление о том, что с тобой происходит. Когда я лег вниз лицом, положив голову на руки, то вначале я еще ощущал беспощадные укусы солнца. В течение нескольких часов смотрел я в пространство, заполненное светящимися точками, а потом закрыл глаза в изнеможении. Я уже не чувствовал жар солнца на теле, не ощущал ни голода, ни жажды — ничего, кроме состояния полного безразличия к жизни и смерти. Я подумал, что умираю, и мысль эта наполнила меня странной, темной надеждой.

Когда я открыл глаза, то увидел себя в Мобиле. Стояла нестерпимая жара, и я пошел погулять в компании еврея Массея Нассера (продавца магазина, у которого всегда покупали одежду моряки) и приятелей с эсминца. Массей Нассер и дал мне те проспекты.

В течение восьми месяцев, пока корабль стоял на ремонте, Массей Нассер уделял особое внимание колумбийским морякам, и мы в знак благодарности покупали только у него. Он хорошо говорил по-испански, хотя, как он сказал, никогда не был ни в одной латиноамериканской стране.

И вот сейчас, как во всякую субботу, мы были в загородном кафе на вольном воздухе, куда ходили только евреи и колумбийские моряки. На деревянном помосте танцевала все та же девушка. Она обнажила живот, а голову покрыла газовой вуалью на манер арабских танцовщиц из кинофильмов. Мы пили вино и хлопали в ладоши. Массей Нассер веселился больше всех.

Трудно сказать, сколько времени длилось это видение, но помню, что внезапно я вздрогнул, уви-

дев метрах в пяти от плота огромную желтую черепаху с пятнистой головой и немигающими, лишенными выражения глазами, похожими на два больших стеклянных шара; взгляд этих глаз леденит душу. Я думал, что это новая галлюцинация, и, охваченный ужасом, сел на борт. Как только я задвигался, чудовище (от головы до хвоста в нем было не менее четырех метров) погрузилось в воду, оставив на поверхности пенный след. Я не знал, действительность это или видение, я и по сей день не уверен, что все это было в действительности, хотя смотрел на гигантскую черепаху несколько минут. Она плавала, высунув из воды свою кошмарную пятнистую голову, и стоило бы ей только коснуться плота, как он тут же перевернулся бы.

Это ужасное видение вновь пробудило во мне страх, и страх придал мне новые силы. Я взял обломок весла и приготовился к схватке с этим или любым другим чудовищем, которое попытается перевернуть плот. Было около пяти часов дня, и акулы, как всегда в это время, уже выплывали из глубины моря на поверхность. Я посмотрел на черточки, которыми отмечал дни, и насчитал восемь. Вспомнил, что надо отметить еще один день, и процарапал ключом черту, в уверенности, что это уже последняя. Я не находил себе места от ярости и отчаяния: умереть оказалось не менее трудным делом, чем выжить. Утром, выбирая между жизнью и смертью, я выбрал смерть — и все-таки я был жив и держал в руках обломок весла, готовый отстаивать свою жизнь, к которой, казалось, меня уже ничто не привязывало.

Когда под лучами солнца, казавшегося металлическим, я дошел до пределов отчаяния, когда жажда стала действительно невыносимой, случилось невероятное: в сети плота запутался какой-то корень красного цвета, похожий на те, что толкут в Бояка, чтобы получить краску, — их название я позабыл. Не знаю, как он там оказался, — за девять дней я ни разу не видел на поверхности моря ничего растительного. И все же корень был тут, в сетке плота, и служил еще одним доказательством близости земли.

Он был около тридцати сантиметров длиной. Голодный, но уже неспособный думать даже о голоде, я стал вяло жевать этот корень. У него был вкус крови. Маслянистый и сладковатый сок освежал горло. Я подумал, что таким может быть вкус яда, но продолжал совать в рот и пережевывать этот корень, пока от него ничего не осталось.

Можно пробыть в море сколько угодно, хоть год, но в конце концов наступает день, когда невозможно больше выдержать и часа. За день до этого я верил, что рассвет застанет меня на твердой земле, но прошло двадцать четыре часа, а вокруг по-прежнему простирались только вода и небо. Я уже ничего не ждал. Приближалась моя девятая ночь на море. «Девять ночей покойника», — подумал я, зная, что в это самое время мой дом в Боготе полон друзей: была последняя ночь бдения у алтаря покойника. На завтра алтарь будет разобран, и все начнут понемногу привыкать к моей смерти. Меня никогда не покидала смутная надежда, что кто-нибудь, вспомнив обо мне, попытается найти меня и спасти; но, когда я понял, что для семьи это девятая ночь моей смерти, я почувствовал себя окончательно покинутым и подумал, что в таком случае лучше всего мне умереть. Я лег на днище плота и хотел громко сказать: «Я уже не встану!», но голос угас в пересохшем горле.

Я вспомнил колледж, потом поднес к губам медальон с Кармелитской Божьей Матерью и стал читать про себя молитву, представляя, как в этот самый час молятся дома. И я почувствовал облегчение, потому что решил, что я умираю.

НОВАЯ ГАЛЛЮЦИНАЦИЯ — ЗЕМЛЯ

Моя девятая ночь оказалась самой длинной. Я лежал посреди плота, волны лениво ударялись о борт, но сам я уже не был хозяином своих чувств: с каждым ударом волны я вновь переживал случившееся. Говорят, что умирающие переживают за мгновения всю свою жизнь, — нечто подобное было и со мной в ту последнюю ночь. Я снова плыл

на эсминце, лежал на корме рядом с Рамоном Эррерой среди ящиков с холодильниками, радиоприемниками, электропечами, видел Луиса Ренхифо на вахте 28 февраля и с каждым ударом волны снова чувствовал, как груз соскальзывает в море и я иду ко дну, а затем плыву вверх, к поверхности моря. Все мои девять дней одиночества, тоски, голода и жажды повторялись в сознании совершенно отчетливо, словно на киноленте. Сначала падение, потом крики товарищей вблизи плота, потом голод, жажда, и акулы, и воспоминания о Мобиле — все проходило передо мной в длинной веренице образов. Я делал все, чтобы не упасть за борт эсминца, старался покрепче привязать себя, чтобы меня не смыла волна, старался из последних сил, так, что ломило в запястьях и щиколотках; особенно острую боль чувствовал я в правом колене. Но крепко стянутые веревки не помогали: ударила волна и смывала меня с палубы в пучину моря, и, когда я приходил в себя, оказывалось, что я снова, задыхаясь, плыву к поверхности.

За несколько дней до этого я думал привязать себя к плоту, настало время сделать это, но я не мог заставить себя встать и заняться этим нелегким делом. Учítывая, что я не осознавал положения, в котором оказался, нужно считать, что мне опять здорово повезло: я бы ничего не понял, если бы волна и вправду смыла меня за борт — реальность смешивалась для меня с галлюцинациями. Если бы плот перевернулся, я бы решил, что это новая галлюцинация, что я вновь переживаю падение с эсминца, как было не раз в течение этой ночи, и я бы пошел ко дну, в пасть акулам, которые так терпеливо ждали у борта все эти девять дней.

К утру подул холодный ветер. Меня лихорадило и знобило, холод пронизывал до костей. Я снова чувствовал боль в правом колене — морская соль высушила рану, но она была по-прежнему обнажена. С тех пор как она у меня появилась, я старался не тревожить ее, но в ту ночь я лежал лицом вниз, упираясь коленями в днище плота, и кровь в ране болезненно пульсировала. Теперь я могу сказать, что эта рана спасала мне жизнь. Как сквозь сон

возникало во мне ощущение боли — и я вновь ощущал свое тело, чувствовал на горячем лице дуновение холодного ветра. Теперь вспоминаю, что в течение многих часов я бормотал что-то несвязное, говорил с приятелями, ел мороженое в компании Мэри Эддрес и где-то пронзительно звучала музыка.

Прошло, как мне казалось, бесконечно много времени, и я почувствовал, что голова у меня раскальвается, кровь сильно стучит в висках и болят кости. Правое колено вспухло, и было такое ощущение, будто оно раздулось и стало больше моего тела.

Когда начало светать, я пришел в себя и увидел, что я на плоту, но не знал, сколько времени пролежал в таком состоянии. С большим трудом я вспомнил, что нацарапал на борту всего девять черточек, но никак не мог вспомнить, когда именно я нанес последнюю. Казалось, прошло очень много времени с того вечера, когда я съел красный корень, застрявший в сетке плота. Я еще ощущал во рту сладковатый вкус густого сока, но о корне помнил лишь очень смутно. Или это было во сне? Сколько дней прошло с тех пор? Я понимал, что светает, но не знал, сколько ночей пролежал на плоту в ожидании ускользающей от меня смерти. Небо стало красным, как на закате. Это тоже сбilo меня с толку, я уже не знал, не мог понять, светает или вечерет.

Раненое колено не давало покоя, и я попытался переменить положение — уперся руками в днище, подтянулся, положил голову на борт и перевернулся на спину. Я посмотрел на часы: было четыре часа утра. Каждый день в это время я начинал вглядываться в горизонт, но теперь уже надежды не было. Я смотрел на небо, видел, как оно меняет цвет — от ярко-красного к бледно-синему. Воздух еще не нагрелся. Я чувствовал жар во всем теле и острую, пронизывающую боль в колене. Меня мучила мысль о том, что я не смог умереть, — я совсем обессилел, но был вполне живой и, сознавая это, еще острее переживал свою беспомощность. Я думал, что мне не пережить той ночи, а между тем все оставалось по-прежнему: я был на плоту, и наступал день под нестерпимым солнцем, и с пяти часов вечера вокруг

плота опять будут бродить акулы. Когда небо на восходе уже начинало голубеть, я посмотрел на горизонт. Всюду расстилалась спокойная зеленая гладь моря, но прямо перед собой я увидел в предрассветных сумерках длинную густую тень. В прозрачном небе четко вырисовывались силуэты кокосовых пальм.

Меня снова охватила досада. Днем раньше я увидел себя на гулянье в Мобиле, потом видел гигантскую желтую черепаху, а ночью побывал в родном доме в Боготе, в колледже Ла Салль и в компании своих приятелей с эсминца; теперь я видел перед собой землю. Случись это четыремя или пятью днями раньше, я бы обезумел от радости, бросил плот к черту и пустился вплавь, чтобы поскорее достигнуть берега, но теперь я знал, что мне следует остерегаться галлюцинаций. Пальмы виделись слишком уж отчетливо, и, кроме того, расстояние до них все время менялось. То казалось, что они совсем близко, то на расстоянии двух или трех километров. Поэтому я не радовался, поэтому отдался прежнему желанию поскорей умереть, чтобы не сойти от галлюцинаций с ума.

Я снова стал смотреть на небо. Теперь оно было высоким и чистым, темно-синего цвета. В четыре сорок пять засиял восход. Сначала я боялся ночи, теперь и солнце было враждебно мне. Оно казалось могущественным и жестоким врагом, который является, чтобы бичевать мое и без того изъязвленное тело, чтобы сводить меня с ума голодом и жаждой. Я проклял солнце, проклял день, проклял судьбу, которая позволила мне выдержать девять суток на плоту, а не доконала жаждой, не бросила в пасть акулам...

Мне опять захотелось переменить положение, и я решил взять обломок весла, чтобы опереться на него. Он был привязан к сетке, я отвязал его, пристроил поудобнее под обожженную спину, а голову положил на широкий борт; и тогда, в первых лучах восходящего солнца, я совершенно отчетливо увидел длинную темно-зеленую полосу берега. Время приближалось к пяти, и небо было совершенно светлым. Не могло быть никакого сомнения, что передо мной действительно земля. Все надежды первых дней на пло-

ту, когда я радовался самолетам, огням кораблей, чайкам, цвету воды, разом возродились во мне при виде земли.

Если бы в это время я съел два яйца, кусок мяса, хлеб и кофе с молоком — полный завтрак на эсминце, — то не почувствовал бы такого прилива сил, какой почувствовал теперь при виде земли или того, что я считал землей. В одну секунду я вскочил на ноги. Передо мной была темная береговая полоса с силуэтами пальм. Огней видно не было, но справа, на расстоянии примерно десяти километров, на склоне скалистого берега играли первые лучи солнца. Охваченный безумной радостью, я взял обломок весла и попытался направить плот прямо к берегу.

Я прикинул, что до него должно быть около двух километров. Руки мои были в страшном состоянии, спина болела при малейшем движении, но не для того терпел я девять суток — и уже начинались десятые, — чтобы сдать, когда передо мной наконец была земля. Я покрылся испариной, от утреннего холодного ветра ломило в костях, но я все греб и греб.

Но это было не весло, особенно для такого плота, как мой, а кусок палки, который не годился бы даже на то, чтобы замерить им глубину. Радостное возбуждение неожиданно придало мне силы, и в первые минуты я сумел немного продвинуться вперед, но скоро почувствовал большую слабость, перестал грести, всмотрелся в пышную растительность на берегу и заметил, что параллельное берегу течение относит плот к скалам. Я сокрушался о потерянных веслах: достаточно было бы одного из них, чтобы противостоять течению. Я подумал, что придется дожидаться, пока плот приблизится к скалам. Они блестели в первых лучах утреннего солнца, точно сложенные из стальных игл. Но я уже так отчаялся почувствовать твердую землю под ногами, что отбросил эту мечту как несбыточную. И хорошо сделал: потом я узнал, что это были скалы на Пунта-Карибана, и, отдайся я течению, я бы неминуемо разбился о камни.

Я старался рассчитать свои силы. Предстояло проплыть два километра, чтобы достигнуть берега. В нормальном состоянии я могу проплыть два кило-

метра меньше чем за час, но я не знал, сколько смогу выдержать, если за десять суток съел только кусок рыбы и небольшой корень, а все мое тело в волдырях и колено ранено. Однако другого выхода у меня не было. Я не успел все обдумать, не успел вспомнить про акул — я оставил весло, закрыл глаза и бросился в воду.

Холодная вода взбудрила меня. Оказавшись у самой поверхности воды, я потерял из виду полосу берега. И только в воде я понял, что не догадался сделать две вещи: снять рубашку и зашнуровать ботинки. Надо было сделать это, держась на поверхности, прежде чем начать плыть. Я снял рубашку и обвязал ее вокруг пояса, затянул и завязал шнурки и тогда уже поплыл. Сначала торопливо, с нетерпением; потом спокойнее, чувствуя, как тают мои силы с каждым взмахом, и к тому же не видя больше земли.

Не успел я проплыть и пяти метров, как почувствовал, что оборвалась цепочка с образком Кармелитской Божьей Матери. Я остановился и успел подхватить его, когда она уже утонула в прозрачном водовороте. Положить его в карман не было времени, так что я зажал образок в зубах и поплыл дальше.

Силы мои иссякли, а берега все не было видно. Меня снова охватил ужас: а что если береговая полоса мне привиделась? Прохладная вода вновь привела меня в чувство, и я, собрав последние силы, поплыл к призрачному берегу. Так или иначе, я отплыл слишком далеко, и вернуться к плоту было уже невозможно.

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЖИЗНИ НА НЕЗНАКОМОЙ ЗЕМЛЕ

Только пятнадцать минут спустя я снова увидел землю. До нее было больше километра, зато теперь я уже не сомневался, что это земля, а не мираж. Солнце золотило кроны кокосовых пальм. На берегу не было видно никаких признаков человеческого жилья, но это была земля.

Не прошло и двадцати минут, как я поплыл, а силы мои почти иссякли. Но я чувствовал, что до-

плыву. Я плыл спокойно, не поддаваясь эмоциям, сохраняя над ними контроль. Половину своей жизни я провел на воде, но только в то утро девятого марта я по-настоящему понял, что значит быть хорошим пловцом. Я продвигался вперед, и силуэты пальм все четче вырисовывались на фоне неба.

Солнце уже висело над горизонтом, когда я подумал, что, пожалуй, смогу достать дно. Я сделал попытку, но оказалось, что еще глубоко. Стало ясно, что впереди нет песчаной отмели, что придется плыть к самому берегу. Не могу сказать, сколько времени я плыл. Солнце становилось все жарче, но теперь оно не жгло кожу, а приятно согревало тело. Проплыв первые метры в холодной воде, я опасался судорог, но потом быстро разогрелся. А потом вода стала теплее, и я, уже совсем задыхаясь, плыл как в тумане, но с такой целеустремленностью, которая была сильнее голода и жажды.

Я уже ясно различал густую листву, блестящую в мягких лучах утреннего солнца, когда во второй раз попробовал достать дно. Там, под подошвой моих ботинок, была твердая земля! Испытываешь очень странное ощущение, когда ступаешь на землю после десяти дней дрейфа.

Но скоро я понял, что самое трудное еще впереди: я был в полном изнеможении, едва держался на ногах, и волна прибоя, откатываясь, тащила меня назад. Одежда и ботинки казались страшно тяжелыми, но даже в таком положении не утрачиваешь чувства стыда: я думал, что в любую минуту могут появиться люди, и потому не снял с себя одежду, которая мешала мне двигаться. Чувствуя себя на грани обморока, я продолжал бороться с волнами.

Вода была мне выше пояса. Ценой невероятных усилий я добрался до места, где вода доходила мне до коленей. Тогда я решил ползти, стал на четвереньки и пополз к берегу, но тщетно — волны отталкивали меня назад. Мелкий колючий песок растер рану на колене, я понял, что она начала кровоточить, но боли в тот момент не чувствовал. Кончики пальцев были ободраны до мяса, песок

забивался под ногти, но я погрузил в него пальцы еще глубже и рванулся вперед. Вдруг меня снова охватил страх: земля, позолоченные солнцем пальмы закачались перед глазами, и мне показалось, что я стою на зыбучем песке, что меня заглатывает земля. Страх придал мне силы, и я, превозмогая боль, не щадя ободранных, кровоточащих пальцев, продолжал ползти против волн. Десять минут спустя все пережитые страдания, десятидневные голод и жажда дали себя знать — и, чуть живой, я упал на твердую и теплую землю и долго лежал, ни о чем не думая, никого не благословляя, даже не радуясь тому, что благодаря воле, надежде, неистребимому желанию жить я наконец нашел спасение на неведомом тихом берегу.

Оказавшись на земле, прежде всего ощущаешь тишину. Спустя некоторое время начинаешь слышать отдаленный печальный ропот волн и уже вслед за ним, услышав шум ветра в пальмовых ветвях, начинаешь наконец понимать, что ты на суше, что ты спасен, хоть и лежишь неизвестно где.

Придя в себя, я начал оглядывать все вокруг. Место казалось диким. Глаза мои инстинктивно искали следы человеческого присутствия, и метрах в двадцати от себя я увидел изгородь из колючей проволоки. Рядом проходила узкая и извилистая дорога со следами копыт, вдоль которой была разбросана скорлупа кокосовых орехов. Эти доказательства присутствия человека вызвали во мне безграничную радость. Я уронил голову на песок и стал ждать.

Понемногу силы возвращались ко мне. Был седьмой час, и солнце поднималось все выше над горизонтом. У дороги среди скорлупы я заметил несколько целых орехов. Я подполз к ним, прислонился к стволу пальмы и сжал между коленей круглый гладкий орех. Как и пять дней назад, когда поймал рыбу, я жадно искал в орехе места, через которые можно было бы добраться до содержимого. Поворачивая плод в руках, я слышал внутри плеск жидкости. Этот приглушенный звук еще сильнее возбуждал жажду. За десять дней, проведенных в море, у меня ни разу не было чув-

ства, что я схожу с ума; но теперь, когда я вертел в руках кокосовый орех и слышал плеск свежего, чистого, недоступного сока, я ощутил себя на грани помешательства.

В кокосовом орехе, в верхней его части, есть три глазка, расположенные в форме треугольника, но для того, чтобы пробуравить их, нужно мачете. У меня же были только мои ключи. Я несколько раз пытался разбить ключами плотную шероховатую скорлупу. Наконец я сдался, отшвырнул орех в сторону и снова услышал, как заплескался сок.

Моей последней надеждой оставалась дорога. Скорлупа разбитых орехов говорила о том, что кто-то приходит сюда срывать их с деревьев. Это означало, что жилье где-то близко, потому что никто не станет ходить слишком далеко за тяжелыми кокосовыми орехами.

Я думал об этом, прислонившись к стволу пальмы, когда вдруг услышал далекий собачий лай. Я насторожился. Послышалось звяканье металла. Звуки доносились со стороны дороги, и они приближались.

Это была молодая, невероятно худая негр-итянка, одетая в белое. Она несла алюминиевую кастрюльку, и крышка мерно позвякивала в такт ее шагам. «В какой я стране?» — подумал я, глядя на приближающуюся женщину, похожую на негр-итянку с Ямайки. Я подумал о Сан-Андресе и Провиденсии, обо всех Антильских островах. Судьба посылала мне первый благоприятный случай, но он мог оказаться и последним. «Понимает ли она по-испански?» — подумал я, стараясь угадать что-нибудь по ее лицу. Она шлепала по дороге своими пыльными туфлями, ничего не замечая. Я очень боялся упустить этот случай, и от волнения у меня родилась абсурдная мысль, что, если я заговорю по-испански, она меня не поймет и, бросив на произвол судьбы, оставит лежать тут, на краю дороги.

— Хэлло, хэлло! — умоляюще проговорил я.

Девушка повернула ко мне голову, и ее большие глаза раскрылись от испуга еще шире.

— Help me!¹ — крикнул я в полной уверенности, что она меня понимает.

Заколебавшись, она огляделась вокруг и, испуганная, пустилась бежать по дороге.

Я думал, что умру от горя. На мгновение я увидел себя мертвым и растерзанным кондорами. Но тут я услышал собачий лай. Он приближался. Сердце мое забилося сильней, я уперся руками в землю и поднял голову. Я ждал. Прошла минута, еще минута. Лай раздавался все ближе, но вдруг все смолкло, и я уже не слышал ничего, кроме шума прибоя и шелеста листьев на верхушках кокосовых пальм. Наконец, когда истекла самая длинная минута в моей жизни, появился тощий пес, а за ним осёл с двумя корзинами. Следом шел бледнолицый белый мужчина в соломенной шляпе; брюки его были подвернуты выше коленей, за спиной у него висел карабин.

Выйдя из-за поворота и увидев меня, он остановился в изумлении. Собака, подняв хвост палкой, подошла и обнюхала меня. Незнакомец молча, не двигаясь, стоял на месте; потом он снял с плеча карабин, поставил его прикладом на землю и застыл, по-прежнему не сводя с меня глаз.

Не знаю почему, но я думал, что могу находиться где угодно, только не в Колумбии. Не вполне уверенный, что он поймет меня, я решил все же заговорить по-испански.

— Сеньор, помогите мне! — сказал я.

Человек не ответил, а продолжал рассматривать меня, не мигая; взгляд его был непроницаем. «Не хватает только, чтобы он пристрелил меня», — равнодушно подумал я. Собака лизала мне лицо, но у меня не было сил отогнать ее.

— Помогите же мне! — повторил я умоляюще, уже теряя надежду, что он поймет меня.

— Что с вами? — спросил он участливо.

Как только я услышал его голос, я сразу понял, что не меньше голода, жажды и отчаяния меня мучило желание рассказать кому-нибудь все, что со мной случилось. От возбуждения давясь словами, я выпалил:

¹ Помогите мне! (англ.)

— Я Луис Алехандро Беласко, один из моряков с эсминца «Кальдас», упавших в море 28 февраля.

Я был уверен, что все должны знать об этом. Думал, что, как только я назову свое имя, этот человек бросится помогать мне. Но он даже не пошевелился. Он по-прежнему смотрел на меня, ничуть не беспокоясь о собаке, которая лизала теперь мое раненое колено.

— Вы кур возите? — спросил он, решив, вероятно, что я с какого-нибудь каботажного судна, торгующего птицей и свиньями.

— Нет, я военный моряк.

Только тогда незнакомец начал двигаться. Он закинул карабин за спину, сдвинул шляпу к затылку и сказал:

— Я отвезу на пристань эту проволоку и вернусь за вами.

Я испугался, что еще одна возможность спасения от меня ускользает.

— Вы обязательно вернетесь? — спросил я встревоженно.

Он ответил, что вернется. Сказал, что вернется непременно. А потом дружелюбно улыбнулся мне и погнал осла, продолжая свой путь. Собака осталась со мной и все обнюхивала меня. И только когда человек был уже довольно далеко, я догадался спросить и почти прокричал ему вслед:

— Что это за страна?

И он с необыкновенной простотой и естественностью дал ответ, который я меньше всего ожидал услышать:

— Колумбия.

ШЕСТЬСОТ ЧЕЛОВЕК ПРОВОЖАЮТ МЕНЯ В САН-ХУАН

Как и обещал, он вернулся. Я не успел еще начать беспокоиться (прошло не больше пятнадцати минут), он уже возвращался со своим ослом, корзины на спине которого были теперь пустыми, в сопровождении негритянки с алюминиевой кастрюлей. Она, как я узнал потом, была его женой.

Все это время собака не отходила от меня. Она перестала обнюхивать меня и лизать мои раны и лежала рядом в полудреме, пока не увидела приближающегося осла; тогда она вскочила и замаха-ла хвостом.

— Идти сможете? — спросил незнакомец.

— Попробую, — сказал я и попытался встать, но тут же свалился.

— Не сможете, — сказал мужчина, подхватывая меня.

Они с женой посадили меня на осла, стали по бокам, держа меня под руки, и мы тронулись в путь. Собака радостно прыгала впереди.

Вдоль всей дороги росли кокосовые пальмы. В море я терпел жажду, но теперь, двигаясь по изви-листой тропе, окаймленной пальмами, я больше не мог выдержать ни минуты. Я попросил дать мне кокосового сока.

— Я не взял с собой мачете, — сказал он мне.

Но сказал он неправду: мачете висело у него на поясе. Позже я узнал, почему он отказал мне. Ока-зывается, он съездил в соседнее селение, которое находилось в двух километрах от места, где я ле-жал, и поговорил с людьми, и те сказали, что мне нельзя ничего давать, пока врач меня не осмотрит. А ближайший врач был в двух днях пути оттуда, в Сан-Хуане-де-Ураба.

Через полчаса мы пришли к дому — деревян-ному строению с железной крышей, стоящему у дороги. Там было еще трое мужчин и две женщи-ны. Все вместе они сняли меня с осла, отнесли в комнату и уложили на постель. Одна из женщин пошла на кухню, принесла кастрюлю кипятка, за-варенного корицей, и села у постели, чтобы попо-ить меня из ложечки. После первого глотка мне страшно захотелось еще, но уже после второго я успокоился, и тогда мне захотелось рассказать все, что со мной случилось.

Никто из них ничего об этом не знал. Я хотел рассказать им все по порядку, чтобы они узнали, как я спасся. Я считал почему-то, что в каком бы месте на земле я ни очутился, там все уже будут знать о катастрофе, и был раздосадован, когда по-

нял, что ошибался. Женщина между тем поила меня из ложечки, как больного ребенка.

Несколько раз я принимался рассказывать. Четверо мужчин и две другие женщины невозмутимо стояли у моей постели и смотрели на меня. Это напоминало какую-то торжественную церемонию. Если бы не чувство радости от сознания того, что я спасся от акул, от бесчисленных опасностей моря, подстерегавших меня в течение десяти дней, я бы подумал, что вокруг меня существа с другой планеты.

Женщина, которая меня поила, была, несомненно, очень доброй. Как только я принимался рассказывать, она говорила мне:

— Молчите пока, потом расскажете.

В то время я бы съел все, что попало мне под руку. Из кухни до меня доходил ароматный пар готовящегося завтрака, но все мои просьбы были напрасны.

— Когда врач осмотрит, мы вас покормим.

Но врач так и не пришел. Каждые десять минут мне давали по несколько ложек сладкой воды. Младшая из женщин, совсем еще девочка, мягкой тканью, смоченной в теплой воде, промыла мои раны. Время шло, и с каждым часом я чувствовал себя все лучше. Я видел, что меня окружают друзья. Если бы они вместо того, чтобы поить меня сладкой водой, сразу накормили меня, организм мой этого не выдержал бы.

Человека, который нашел меня на дороге, звали Дамасо Имитела. В тот же день в десять часов утра он отправился в ближайшее селение Мулатос и вернулся с несколькими полицейскими. Они тоже ничего не знали о случившемся: газеты туда не доходят. В одном магазине есть электрогенератор, и на его энергии работают холодильник и радиоприемник, но там не слушают известия. Как я потом узнал, когда Дамасо Имитела рассказал инспектору полиции о том, что нашел меня на берегу и что я с эсминца «Кальдас», то пустили электрогенератор, включили приемник и весь день слушали известия из Картахены. Но о катастрофе уже не говорилось, и только с наступлением ночи диктор

кратко упомянул о случившемся. Тогда инспектор полиции, все полицейские и шестьдесят человек жителей Мулатоса отправились в путь, чтобы оказать мне помощь. В начале первого ночи они наводнили дом и своими криками прервали мой первый спокойный сон за последние 12 дней.

Казалось, все жители Мулатоса, мужчины, женщины и дети, пришли, чтобы посмотреть на меня. Так я впервые встретился с толпой любопытных; в последующие дни такие толпы окружали меня повсюду. Многие принесли с собой керосиновые лампы и карманные фонарики. Поднимая меня с постели, инспектор полиции и его многочисленные помощники разодрали мне обожженную кожу. Они устроили настоящую свалку.

Было очень душно. Я задышался, окруженный толпой благожелателей. Когда меня вынесли на улицу, я был ослеплен светом множества ламп и карманных фонариков, светивших мне прямо в лицо. В гуле человеческих голосов выделялся голос инспектора, отдававшего приказания. Конца моим странствиям все еще не было видно. С тех пор как упал с эсминца, я непрерывно двигался в неизвестном направлении, и в это утро продолжал двигаться, по-прежнему не зная куда, не представляя себе, что со мной собирается сделать эта заботливая толпа.

Дорога до Мулатоса оказалась длинной и трудной. Меня уложили на гамак, прикрепленный к двум длинным жердям, и восемь человек — по два на каждом конце жердей — понесли по узкой извилистой дороге, освещаемой светом ламп. Мы шли под открытым небом, а от света ламп было жарко, как в запертой комнате. Восемь человек менялись через каждые полчаса. Мне в это время давали по несколько глотков воды и кусочки содового печенья. Хотелось знать, куда меня несут, что собираются со мной сделать, но вокруг говорили все разом, и понять что-либо было невозможно. Не говорил один я: инспектор полиции, руководивший людьми, запретил подходить ко мне и задавать вопросы. До моих ушей доносились крики, приказания, обрывки фраз. Когда мы пошли по

длинной улице Мулатоса, полицейские уже не могли удерживать толпу, рвущуюся ко мне. Было около восьми часов утра.

Мулатос — рыбацкое поселение, в котором нет телеграфа. Ближайший городок — Сан-Хуан-де-Ураба. Туда два раза в неделю прилетает из Монтерии небольшой самолет. Когда мы вошли в поселок, я подумал, что наконец мы пришли куда-то и хоть что-нибудь теперь для меня прояснится — может быть, я получу известия о родных. Но на самом деле в Мулатосе я был только на половине своего пути. Меня поместили в одном из домов селения, и все жители стали в очередь, чтобы посмотреть на меня. Я вспомнил о факире, которого за пятьдесят сентаво я видел два года назад в Боготе. Чтобы увидеть его, надо было простоять несколько часов в длинной очереди, и когда наконец ты входил в комнату, где в стеклянной урне сидел факир, не хотелось уже никого и ничего видеть, а хотелось только поскорей выйти наружу, чтобы размять ноги и вдохнуть свежего воздуха.

Разница между факиром и мной была та, что факир жил под стеклянным колпаком и сидел без пищи девятые сутки; а я провел без еды десять суток посреди моря да еще сутки, лежа в постели. Передо мной проходила нескончаемая вереница лиц — белых, черных. Духота была страшная. Я уже чувствовал себя достаточно хорошо, чтобы отнестись ко всему этому с юмором, и подумал, что вполне могли бы продавать у входа билеты и показывать меня за деньги.

В том же гамаке из Мулатоса меня потащили в Сан-Хуан-де-Ураба, но сопровождавшая толпа сильно выросла — теперь в ней было не меньше 600 человек. Среди них женщины, дети и даже животные: некоторые ехали верхом на ослах. Но большинство шли пешком. Шли почти целый день. Окруженный таким множеством людей, которые по очереди несли меня, я чувствовал, как постепенно возвращаются ко мне силы. Думаю, что весь Мулатос забросил тогда свои дела. С раннего утра заработал электрогенератор, и из радиоприемника, включенного на полную мощность, зазвучала му-

зыка. Было как на празднике. А я, виновник торжества, лежал на кровати, и все селение стало в очередь, чтобы увидеть меня; и те же самые люди длинным караваном, запрудившим извилистую дорогу, отправились проводить меня в Сан-Хуан-де-Ураба.

Всю дорогу мне очень хотелось есть и пить. Кусочки содового печенья, небольшие глотки воды подкрепили меня, но в то же время обострили голод и жажду. Наше путешествие в Сан-Хуан-де-Ураба напоминало мне сельский праздник. Встретить нас вышли все жители этого живописного, овеваемого морским ветром городка. Власти заранее приняли меры, и полиции удалось сдерживать толпу, вышедшую на улицы, чтобы увидеть меня.

Таким был конец моего путешествия. Доктор Умберто Гомес, первый обследовавший меня врач, объявил мне радостную новость, но прежде осмотрел меня, чтобы убедиться в том, что я смогу ее выдержать, и только потом, погладив меня по щеке, сказал с доброй улыбкой:

— Самолет ждет вас. Вы полетите в Картахену и там встретитесь с родными.

МОЙ ГЕРОИЗМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ТОЛЬКО В ТОМ, ЧТО Я НЕ ДАЛ СЕБЕ УМЕРЕТЬ

Никогда бы я не подумал, что человек может превратиться в героя только потому, что пробыл десять дней на плоту, терпя голод и жажду. А ведь ничего другого я не мог сделать. Если бы на плоту был запас пресной воды и галеты, компас и рыболовные снасти, я, наверное, тоже был бы жив и здоров, как и теперь, но с одним различием: меня бы не считали героем. Таким образом, героизм в данном случае заключается лишь в том, что я не дал себе умереть от голода и жажды в течение десяти дней.

Я не прилагал никаких усилий к тому, чтобы стать героем, — я думал только о том, чтобы спастись. Но так как мое спасение само по себе оказа-

лось окруженным ореолом славы, то получилось нечто вроде торта с сюрпризом, и мне не осталось ничего, кроме как принять свое спасение вместе со своим героизмом.

Меня спрашивают, как чувствуют себя герои. Я не знаю, что на это ответить. Сам я чувствую себя таким же, как прежде. Ни внутренне, ни внешне я не изменился. Ожоги от солнца уже не болят, рана на колене зажила. Я тот же самый Алехандро Беласко, и это ничуть меня не огорчает.

Кто изменился, так это люди вокруг меня. Мои друзья любят меня больше прежнего. Наверно, и враги мои ненавидят меня еще сильнее, чем прежде, хотя не думаю, что у меня были враги. Когда на улице меня узнают, то начинают рассматривать, как диковинного зверя; и поэтому я решил ходить в штатском до тех пор, пока люди не позабудут, что я пробыл десять суток на плоту, лишенный воды и пищи.

Когда становишься известным, то прежде всего создается впечатление, что днем и ночью всем и каждому хочется, чтобы ты говорил о себе. Я понял это еще в военно-морском госпитале Картахены, где ко мне приставили часового, чтобы никто не мог со мной говорить. Через три дня я уже чувствовал себя хорошо, но мне по-прежнему не разрешали выходить на улицу. Я уже знал, что, когда меня выпустят, придется без конца рассказывать всем свою историю. Часовые говорили мне, что в Картахену понаехало множество репортеров со всех концов страны, чтобы брать у меня интервью и фотографировать меня. Один из них, с двадцатисантиметровыми усами, сделал пятьдесят снимков, но ему так и не позволили спрашивать меня о моих приключениях. Другой, превосходящий его отвагой, переделался врачом, обманул часового и проник в мою палату. Он имел шумный и заслуженный успех, но ему пришлось нелегко. Вот как это было.

В мою палату могли входить только мой отец, часовые, врачи и санитары госпиталя. И вот однажды ко мне вошел врач, которого я никогда раньше не видел — один, очень молодой, в обычном

белом халате, в очках и со стетоскопом на шее. Вошел он стремительно, не сказав ни слова. Унтер-офицер охраны растерянно посмотрел на него, затем потребовал удостоверение. Молодой врач обшарил все карманы и, слегка смутившись, сказал, что позабыл взять с собой документы. Тогда унтер-офицер заявил ему, что говорить со мной он не сможет без специального разрешения директора больницы. Оба пошли к директору. Через пятнадцать минут они вернулись.

Первым вошел унтер-офицер и сообщил, что врачу дали разрешение осматривать меня в течение пятнадцати минут.

— Это психиатр из Боготы, но мне сдается, что он переодетый репортер, — добавил унтер-офицер.

— Почему? — спросил я.

— Потому что он очень испуган. А потом, психиатры не пользуются стетоскопом.

Тем не менее он беседовал с директором госпиталя в течение десяти минут, прибегая к сложным медицинским терминам, и они пришли к соглашению.

Не знаю, повлиял ли на меня разговор с унтер-офицером, но, когда молодой врач вошел в палату, он уже не казался мне врачом. И репортером тоже не казался: до этого я никогда не встречался с репортерами. Он был похож на переодетого священника. Он как будто не знал, с чего начать; на самом же деле он просто искал способ удалить из комнаты унтер-офицера.

— Будьте добры, — обратился он к нему, — достаньте где-нибудь лист бумаги.

Он, наверно, полагал, что унтер-офицер пойдет за бумагой в контору. Но был приказ ни в коем случае не оставлять меня одного, так что унтер-офицер только выглянул в коридор и крикнул:

— Принесите-ка поскорей писчей бумаги!

Моментально появилась бумага. Проншло уже более пяти минут, а врач все еще не задал ни одного вопроса. Получив бумагу, он приступил к обследованию: дал мне лист и попросил нарисовать корабль. Я нарисовал. Потом он попросил подписать рисунок. Я сделал и это. Затем он попросил

нарисовать загородный дом. Я как можно лучше нарисовал дом и цветущий банан рядом. Он попросил подписаться, и тогда я окончательно убедился в том, что это переодетый репортер. Но он продолжал играть роль врача.

Когда я кончил рисовать, он взял рисунки, посмотрел на них, сказал что-то и стал задавать мне вопросы относительно моего приключения. Дежурный напомнил ему, что задавать мне такие вопросы запрещено. Тогда он начал осматривать меня, как это делают обыкновенные врачи. Руки у него были ледяные. Если бы дежурный потрогал их, он бы тут же вышвырнул его из комнаты. Но я ничего не сказал: нервозность этого человека и то, что это в самом деле мог быть переодетый репортер, очень располагали меня к нему. Пятнадцать минут еще не истекли, когда он, забрав листы, бросился вон.

На следующий день поднялась страшная суматоха: рисунки со стрелочками и надписями появились на первой полосе газеты «Эль тьемпо». «Вот где я стоял», — говорила надпись, и стрелочка указывала на мостик корабля. Они ошиблись: я стоял не на мостике, а на корме. Но рисунки были мои.

Этот случай открыл мне глаза на интерес, который газеты проявляли к моему десятидневному плаванию. Интерес этот разделяли все, и даже мои товарищи по команде потом не раз просили меня рассказать им всю историю. Когда я приехал в Боготу уже почти совсем выздоровевший, я понял, что в моей жизни произошла важная перемена. Меня встретили на аэродроме с почестями, президент республики поздравил меня с подвигом, представил к награде. Я узнал, что останусь служить во флоте, но буду повышен в звании.

Кроме того, меня ожидало еще кое-что, о чем я и не подозревал: предложения торговых фирм. Я был очень доволен своими часами, которые шли точно все десять дней моей одиссеи, но мне не приходило в голову, что это может принести какую-то пользу часовой фирме; тем не менее она вручила мне пятьсот песо и новенькие часы. За то, что я употреблял определенный сорт жевательной

резины и подтвердил это в одном объявлении, мне дали тысячу песо, а обувная фирма, ботинки которой я носил, дала мне за мое заявление две тысячи. За то, что я разрешил передать мою историю по радио, мне дали пять тысяч... Никогда бы не подумал, что прожить десять дней в море без еды и питья окажется таким выгодным делом, но это так: на сегодняшний день я получил уже почти десять тысяч песо. Однако повторить свое приключение я бы не согласился и за миллион.

В моей жизни героя нет ничего примечательного. Я встаю в десять часов утра и отправляюсь в кафе поболтать с приятелями или же иду в какое-нибудь рекламное агентство, где на основе моих приключений готовят новое объявление. Почти ежедневно я хожу в кино, и не один, но имя спутницы называть не стану: пусть оно останется про запас.

Каждый день я получаю отовсюду письма. Пишут незнакомые мне люди. От Перейры, подписавшегося Х.В.С., я получил длинную поэму с многократными упоминаниями плотов и чаек. Мне часто пишет Мэри Эддрес, заказавшая молебен за упокой моей души в дни, когда я плыл на плоту.

Я рассказал свою историю по радио и телевидению, рассказывал ее своим друзьям и еще рассказал старушке вдове, у которой есть большой альбом с фотографиями и которая пригласила меня к себе в гости. Некоторые утверждают, что вся эта история — фантастический вымысел. Интересно, что в таком случае я делал все десять дней?

РАССКАЗЫ

(1955—1972)

ИСАБЕЛЬ СМОТРИТ НА ДОЖДЬ В МАКОНДО

Непогода пришла в воскресенье после мессы. Ночь была очень душная, и еще утром никто не думал, что сегодня может пойти дождь. Не успели мы, женщины, выйти из церкви и раскрыть зонты, как подул тугой темный ветер, который одним мощным порывом смел и закружил пыль и сухую майскую кору. Кто-то рядом со мной сказал:

— Будет дождь.

А я уже это знала. Почувствовала, когда мы вышли на паперть и меня вдруг пронизала дрожь от опущения какой-то вязкости внутри. Мужчины заспешили к ближайшим домам, одной рукой придерживая сомбреро, другой — прикрывая лицо платком от поднятого ветром облака пыли. А потом хлынул дождь, и небо, серое и студенистое, заколыхалось совсем близко, над самыми нашими головами.

Остаток утра мы с мачехой провели сидя в галерее, довольные, что дождь оживит розмарин и клуберозы, изнывающие от жажды в своих ящиках после семи месяцев летнего зноя с его раскаленной пылью. В полдень земля перестала блестеть, и свежий, бодрящий запах дождя и розмарина смешался с запахом взрыхленной почвы, вновь пробуждающихся растений. Во время обеда отец сказал:

— В мае дождь — значит, засухи не будет.

Мачеха, улыбающаяся, словно пронизанная светящейся нитью нового времени года, сказала мне:

— То же самое и в проповеди говорилось.

И мой отец улыбнулся, и пообедал с аппетитом, и даже посидел потом в галерее — было видно, что ему хорошо. Он сидел молча, с закрытыми глазами, но не спал, а как будто грезил наяву.

Дождь лил весь день, не усиливаясь, но и не затихая. Звук воды, падающей на землю, был монотонным и спокойным; казалось, что мы весь день едем на поезде. Но мы даже не заметили, как глубоко дождь проникает в наши чувства. На рассвете в понедельник, когда мы затворили дверь, чтобы укрыться от резкого, стылого холодка, которым тянуло из патио, наши души уже наполнились дождем доверху. А позже, утром — потекло через край. Мы с мачехой снова смотрели на наш сад. Бурая и твердая майская земля превратилась за ночь в темное вязкое месиво, похожее на дешевое мыло. Между цветочными ящиками бежали быстрые ручейки.

— Теперь уж они напились досыта, — сказала мачеха.

И я увидела, что она больше не улыбается и ее вчерашнее оживление сменилось серьезностью и усталостью.

— Наверно, — сказала я. — Надо, чтобы работники на время дождя перенесли их в коридор.

Так и сделали, а дождь все рос и рос огромным деревом над другими деревьями. Отец сел на то же место, где сидел в воскресенье после обеда, но ни словом не упомянул о дожде, а сказал только:

— Плохо спал эту ночь, проснулся ни свет ни заря от боли в пояснице.

И остался сидеть там, у самой решетки, положив вытянутые ноги на стул, повернувшись лицом к пустому саду. Только днем, отказавшись от обеда, отец подал голос:

— Похоже, что этот дождь никогда не кончится.

И я вспомнила месяцы жары. Вспомнила август, нескончаемое оцепенение сиест, когда мы умирали под бременем томительных часов в одежде, облепившей потное тело, а снаружи доносилось глухое и назойливое гуденье этих часов, которым не было конца. Я смотрела на мокрые стены — щели между досками стали шире. Смотрела на наш маленький сад, впервые пустой, и на куст жасмина у стены сада — память о моей матери. Смотрела на отца, который сидел в качалке, подложив под больную спину подушку, в его печальные глаза,

заблудившиеся в лабиринте дождя. Я вспомнила августовские ночи, в чьем наполненном чудесами молчании не слышишь ничего, кроме скрипа планеты, тысячелетиями вращающейся вокруг своей заржавелой, несмазанной оси. И вдруг меня охватила невыносимая печаль.

Дождь лил весь понедельник, такой же, как накануне. Но потом стало казаться, будто он какой-то другой, потому что в моем сердце происходило теперь что-то иное и очень горькое. Я сидела вечером в галерее, и голос рядом сказал:

— Какой тоскливый этот дождь.

Даже не повернув головы, я поняла, что это сказал Мартин. Я знала, что он говорит это, сидя около меня, говорит все тем же холодным, безучастным голосом, который ничуть не изменился после того хмурого декабрьского утра, когда он стал моим мужем. С тех пор прошло пять месяцев, теперь я ждала ребенка, и Мартин тут, рядом, говорил про тоскливый дождь.

— А по-моему, не дождь тоскливый, — возразила я. — Тоску наводят пустой сад и эти бедные деревья, которым некуда уйти.

Сказав это, я повернула голову, чтобы посмотреть на Мартина, но его уже не было, и только чуть слышный голос прошелестел:

— Похоже, что дождь решил никогда не кончаться.

И когда я посмотрела, откуда слышится этот голос, я увидела рядом только пустой стул.

На рассвете во вторник мы увидели в саду корову. Она стояла понуриив голову, увязнув в грязи, и в своей суровой и упрямой неподвижности казалась холмом из глины. Все утро работники палками и камнями пытались прогнать ее из сада, но корова не двигалась с места, суровая, неприступная, с копытами, увязнувшими в грязи, и с огромной, униженной дождем головой. Работники не оставляли ее в покое до тех пор, пока терпение отца не истощилось.

— Оставьте ее, — сказал он им. — Сама пришла, сама и уйдет.

После полудня от сырости стало трудно дышать и начало щемить сердце. Свежесть раннего

утра быстро превращалась во влажную вязкую духоту. Температура была ни высокая, ни низкая — температура озноба. Ноги в туфлях потели. Трудно было решить, что неприятнее — когда кожа открыта или когда она соприкасается с одеждой. Все в доме затихло. Мы сидели в галерее, но уже не смотрели на дождь, как в первый день, не слышали шума падающей воды, не видели ничего, кроме очертаний деревьев в тумане, в этот безнадежный тоскливый вечер, оставлявший на губах такой же привкус, с которым просыпаешься после того, как увидишь во сне незнакомого тебе человека. Я вспомнила, что сегодня вторник, и подумала о близнецах из приюта святого Иеронима — слепых девочках, которые каждую неделю приходили к нам петь простые песни, жалостные от горького и беззащитного чуда их голосов. Сквозь шум дождя мне слышалась песенка слепых близнецов, и я представила себе, как они сидят на корточках в своем приюте и дожидаются, когда дождь кончится и они смогут пойти петь. «Сегодня близнецы не придут, — думала я, — и в галерее после сиесты не появится нищенка, выпрашивающая каждый вторник веточку мяты».

В этот день порядок трапез нарушился. В час сиесты мачеха дала всем по тарелке простого супа с куском заплесневелого хлеба, а до этого мы не ели с вечера понедельника — и с того же самого времени мы, наверно, перестали думать. Парализованные, одурманенные дождем, мы покорно и смиренно подчинились буйству стихии. Только корова вдруг зашевелилась вечером: внезапно ее нутро сотряс глухой рев, и ноги увязли в грязи еще глубже. Потом она застыла на полчаса — словно была уже мертвая, но не падала, потому что привыкла быть живой, привыкла стоять под дождем в одном положении, и стояла до тех пор, пока тяжесть ее тела не перевесила эту привычку. И тут ее передние ноги подогнулись; зад, блестящий и темный, был все еще поднят в последнем предсмертном усилии, морда, с которой текла слюна, погрузилась в темную жижу, и в медленной, безмолвной, исполненной достоинства цере-

мории смерти корова поддалась наконец тяжести собственного тела.

— Вот до чего дошло! — произнес кто-то у меня за спиной.

Я повернулась посмотреть, кто это, и увидела на пороге нищенку, приходившую по вторникам: несмотря на непогоду, она пришла, как обычно, попросить веточку лимонной мяты.

Может быть, в среду я бы уже свыклась с этой давящей жутью, если бы не увидела, войдя в гостиную, что стол подвинут к стене и на него нагромождена вся мебель, а у противоположной стены, на сооруженном за ночь помосте, стоят баулы и ящики с домашней утварью. Зрелище это вызвало во мне пугающее ощущение пустоты. За ночь что-то произошло. В доме царил беспорядок: работники, голые по пояс и босые, с закатанными до колен штанами, перетаскивали мебель в сторону. В выражении их лиц, в усердии, с которым они работали, угадывалась ненависть подавленного бунтарства, вынужденного и унижительного подчинения дождю. Я двигалась без смысла, без цели. Мне казалось, что я болотистый, безысходно печальный луг, заросший мхами, лишайниками и мягкими, осклизлыми грибами, всей этой отвратительной флорой сырости и мрака. Я стояла в гостиной, созерцая раздирающую душу картину нагроможденной на стол мебели, когда услышала голос мачехи — она предупреждала, что я могу получить воспаление легких. Только тогда я заметила, что вода доходит мне до щиколоток, что она разлилась по всему дому и пол покрыт толстым слоем вязкой и мертвой воды.

В полдень еще только рассветало, а к трем часам пополудни снова наступила ночь, болезненная и ранняя, все с тем же медленным, монотонным и безжалостным ритмом дождя в патио. Из молчания работников, которые сидели, подобрав ноги, на стульях вдоль стен, покорные и бессильные перед лицом разбушевавшейся стихии, выросли преждевременные сумерки, тихие и скорбные. Именно тогда начали приходить новости с улицы. Никто не приносил их в дом — они приходили сами, точные, не похожие одна на другую, словно несомые жидкой грязью, кото-

рая волокна по улицам предметы домашнего обихода, всевозможные вещи, следы какой-то далекой катастрофы, мусор и трупы животных. Прошло два дня, прежде чем в доме стали известны события воскресенья, когда дождь казался еще предвестником поры, посланной Провидением, — и в среду новости об этих событиях словно втолкнула к нам сама непогода. Стало известно, что вода проникла внутрь церкви и она может скоро рухнуть. Кто-то, кому и знать это было незачем, вечером сказал:

— Поезд с понедельника не может пройти по мосту — похоже, что река смыла рельсы.

И еще стало известно, что с постели исчезла больная женщина, а теперь ее тело обнаружили плавающим в патио.

Испуганная, замороженная ужасом и ливнем, я села, поджав под себя ноги, в кресло-качалку и устремила взгляд во влажный, полный смутных предчувствий мрак. В дверном проеме с лампой в вытянутой вверх руке и с высоко поднятой головой появилась мачеха. Она казалась каким-то давно знакомым призраком, не вызывавшим никакого страха, ибо я разделяла с ним его сверхъестественность. Все так же, с высоко поднятой головой и лампой в вытянутой вверх руке, она, шлепая по воде в галерее, подошла ко мне.

— Надо молиться, — сказала она.

И я увидела ее лицо, сухое и потрескавшееся, словно она вышла только что из могилы или создана из материи иной, нежели человеческая. Она стояла передо мной с четками в руке и говорила:

— Надо молиться: вода размыва могила, и несчастные покойники плавают по кладбищу.

По-видимому, я проспала этой ночью совсем немного, а потом проснулась, испуганная резким и острым запахом — таким, какой исходит от разлагающихся трупов. Я стала изо всей силы трясти Мартина, храпевшего возле меня.

— Не чувствуешь? — сказала я.

И он спросил:

— Что?

— Запах, — сказала я. — Наверно, это трупы плавают по улицам.

Мысль об этом повергла меня в ужас, но Мартин отвернулся к стене и пробормотал хриплым и сонным голосом:

— Да брось ты свои выдумки! Беременным женщинам всегда что-нибудь мерещится.

На рассвете в четверг запахи пропали, и утратилось ощущение расстояний. Представление о времени, уже нарушенное накануне, потерялось окончательно. Четверга не было — вместо него было нечто физически осязаемое и студенистое, что нужно было раздвинуть руками для того, чтобы пролезть в пятницу. Мужчины и женщины стали неразличимы. Отец, мачеха, работники были теперь фантастическими раздувшимися телами,двигающимися в трясине ливня. Отец сказал мне:

— Не уходи отсюда, пока я не вернусь и не расскажу тебе, что происходит.

Голос его был далекий и неверный, и казалось, что воспринимаешь его не слухом, а осязанием — единственным чувством, которое еще оставалось.

Но отец не вернулся: он заблудился во времени. И когда пришла ночь, я позвала мачеху и попросила ее проводить меня в спальню. Ночь я проспала крепким и спокойным сном. На другой день все оставалось прежним — без цвета, без запаха, без температуры. Проснувшись, я перелезла с постели на стул и замерла: что-то говорило мне, что какая-то часть моего сознания еще не проснулась. Вдруг я услышала гудок, долгий и печальный гудок поезда, спасающегося бегством от непогоды. «Наверно, где-нибудь дождь кончился», — подумала я, и, словно отвечая на мою мысль, голос у меня за спиной произнес:

— Где-то...

— Кто здесь? — спросила я, обернувшись, и увидела мачеху — ее длинная костлявая рука показывала на что-то за стеной.

— Это я, — сказала она.

И я спросила ее:

— Ты слышала?

И она ответила, что да и что, должно быть, в окрестностях дождь кончился и линию отремонтировали. А потом она дала мне поднос с дымящимся

завтраком, от которого пахло чесночным соусом и горячим маслом. Это была тарелка супа. Растерянная, я спросила у мачехи, который час, и она спокойным, полным усталости и безразличия голосом отозвалась:

— Наверно, около половины третьего. Несмотря на все, поезд идет без опоздания.

Я удивилась:

— Половина третьего? Как же я могла столько проспать?

И она ответила:

— Ты спала совсем немного. Сейчас не больше трех часов дня.

И я, дрожа, чувствуя, как тарелка выскальзывает у меня из рук, спросила:

— Не больше трех?.. Ведь сегодня пятница? И она чудовищно спокойно произнесла:

— Четверг, дочка. Пока еще всего лишь четверг.

Не знаю, сколько времени пробыла я в этом сомнамбулическом состоянии, в котором чувства как бы перестали существовать. Знаю только, что после бесчисленного множества часов я услышала голос в соседней комнате:

— Теперь можешь перекатить кровать на эту сторону.

Голос был усталый, но это был голос не больного, а выздоравливающего. Когда он замолк, я услышала царапающий звук: по кирпичам в воде что-то двигали. Я застыла в напряжении, и только позже до меня дошло, что я лежу. Я почувствовала безграничную пустоту, почувствовала трепещущее и яростное молчание дома, немислимую неподвижность всех вещей и почувствовала вдруг, что сердце у меня превратилось в холодный камень. «Умерла, — подумала я, — Боже, я умерла!» Подскочив на постели, я закричала:

— Ада! Ада!

Бесцветный голос Мартина рядом со мной сказал:

— Тебя никто не услышит — в доме никого нет, все уже ушли.

Только после этого я поняла, что дождь наконец кончился и воцарилось безмолвие, глубокая и та-

инственная тишина, блаженное состояние совершенства, наверно, очень похожее на смерть. А потом послышались шаги в галерее, послышался голос, ясный и полный жизни. Свежий ветерок подергал дверь, скрипнул в замке, и что-то твердое и быстрое — может быть, зрелый плод — упало на дно бассейна в нашем патио. В воздухе угадывалось присутствие невидимого существа, улыбающегося в темноте.

«Боже мой, — подумала я, совсем растерянная от перепутавшихся часов и дней, — сейчас бы я не удивилась, если бы меня вдруг позвали на мессу прошлого воскресенья».

СИЕСТА ВО ВТОРНИК

Поезд, выйдя из дрожащего коридора ярко-красных скал, углубился в банановые плантации, бесконечные и одинаковые справа и слева, и тогда воздух стал влажным и перестал ощущаться ветерок с моря. В окно вагона ворвался удушающий дым. По узкой дороге рядом с рельсами воли тянули повозки, доверху нагруженные зеленоватыми гроздьями бананов. За дорогой, на ничем не засаженной и потому какой-то неуместной здесь земле, стояли конторы с электрическими вентиляторами внутри, казармы из красного кирпича и проглядывающие среди пыльных розовых кустов и пальм террасы с белыми столиками и стульями. Было одиннадцать часов, и жара еще не началась.

— Лучше поднять стекло, — сказала женщина. — А то у тебя все волосы будут в саже.

Девочка попыталась, но заржавевшая рама не сдвинулась с места.

Кроме них, пассажиров в этом простом вагоне третьего класса не было. Дым из паровозной трубы по-прежнему вливался в окошко, и девочка поднялась с места и положила на свое сиденье вещи — пластиковую сумку с едой и обернутый газетой букет цветов. Она пересела на скамейку напротив, подальше от окна, лицом к матери. Обе были в бедном и строгом трауре.

Девочке было двенадцать лет, и на поезде она ехала впервые. Веки у женщины были в синих прожилках, а ее тело, маленькое, дряблое и бесформенное, облекало платье, скроенное как сутана. Было непохоже, что она мать девочки — для этого она казалась слишком старой. Она сидела так, словно позвоночник ее прирос к спинке скамьи, и обеими руками держала на коленях когда-то лакированный, а теперь облезлый портфель. Лицо ее выражало полное спокойствие, присущее людям, живущим все время в бедности.

В двенадцать началась жара. Поезд, чтобы пополнить запас воды, остановился на десять минут

на каком-то полустанке. Снаружи, в таинственном молчании плантаций, тени были необыкновенно чистыми, а внутри вагона застоявшийся воздух пах невыделанными кожами. Дальше поезд пошел, уже не набирая большой скорости. Два раза он останавливался в одинаковых городках, деревянные дома которых были выкрашены яркими красками. Женщина, уронив на грудь голову, задремала. Девочка сняла туфли, пошла в туалетную комнату и положила увядшие цветы в воду.

Когда она вернулась, мать уже ждала ее: пора было есть. Она дала девочке кусок сыра, кусок мясного пирога из маисовой муки и сладкую галету и то же самое достала из пластиковой сумки для себя. Они начали есть, а поезд тем временем очень медленно переехал стальной мост и покатил через новый городок, точно такой, как прежние, с той только разницей, что на площади в нем толпился народ. Под расплавляющим все и вся солнцем играли что-то веселое музыканты. За городком, на иссушенной равнине, плантаций уже не было.

Женщина перестала есть.

— Обуйся, — сказала она.

Девочка посмотрела в окно. Она увидела только голую равнину; поезд снова начал набирать скорость, однако она положила недоеденную галету в сумку и мигом обулась. Мать дала ей расческу.

— Причешись.

Девочка стала причесываться, и в эту минуту паровоз засвистел. Женщина рукой обтерла потную шею и блестящее от жира лицо. Едва только девочка кончила причесываться, как в окне замелькали первые дома нового городка, большего по размерам, но еще более унылого, чем прежние.

— Если тебе нужно что-нибудь сделать, сделай это теперь, — сказала мать. — Потом, даже если ты будешь умирать от жажды, не проси ни у кого воды. И самое главное, не плачь.

Девочка кивнула. В окна сквозь свистки паровоза и подрагиванье старых вагонов врывался обжигающий сухой ветер. Женщина свернула сумку с остатками еды и убрала ее в портфель. На какое-то мгновенье в окне засиял и потух весь городок,

такой, каким он был в этот пронизанный светом августовский вторник. Девочка завернула цветы в мокрую газету, отсела еще дальше от окна и пристально посмотрела на мать. Та ответила ей спокойным, ласковым взглядом. Свисток оборвался, и поезд начал замедлять ход. Потом он остановился.

На станции не видно было ни одного человека. На другой стороне улицы, затененной миндальными деревьями, открыта была только бильярдная. Городок плавал в зное. Женщина и девочка вышли со станции, пересекли мостовую, булыжник которой уже начинал разрушаться от напора травы, и оказались в тени — на тротуаре.

Было почти два часа пополудни. В это время дня городок, придавленный к земле оцепенением сна, передавался сиесте. Лавки, учреждения, муниципальная школа закрывались в одиннадцать и открывались лишь незадолго до четырех, когда поезд возвращался. Открытыми оставались только гостиница напротив станции, буфет в ней и бильярдная и тут же, на площади, но чуть сбоку, почта. В домах, построенных в своем большинстве по стандарту банановой компании, были заперты изнутри двери и спущены шторы. В некоторых было так жарко, что обитатели их обедали в патио. Другие располагались на своих стульях в тени миндальных деревьев, прямо на улице, и там проводили часы сиесты.

Стараясь идти в тени и ничем не нарушать отдыха жителей, женщина с девочкой зашагали по городку. Они пошли прямо к дому священника. Мать провела ногтем по металлической сетке, которой была затянута дверь, подождала немного и сделала то же самое снова. Внутри жужжал электрический вентилятор. Она не слышала шагов, только дверь скрипнула где-то внутри дома, а потом совсем близко, прямо за металлической сеткой, настороженный голос спросил:

— Кто там?

Мать попыталась разглядеть того, кто подошел.

— Мне нужен падре, — сказала она.

— Он сейчас спит.

— У меня срочное дело, — сказала мать.

Ее голос звучал спокойно, но настойчиво.

Дверь беззвучно приоткрылась, и они увидели полную коренастую женщину; кожа у нее была очень бледная, а волосы стального цвета. За толстыми стеклами очков ее глаза казались совсем маленькими.

— Войдите. — И она открыла дверь настежь.

Они вошли в комнату, пропахшую запахом увядших цветов. Женщина подвела их к деревянной скамье со спинкой и жестом пригласила их сесть. Девочка села, но мать продолжала стоять, сжимая в руках портфель, погруженная в свои мысли. Никаких звуков, кроме жужжания вентилятора, слышно не было.

Дверь, которая вела в другие комнаты, открылась, и на пороге опять появилась та же женщина.

— Говорит, чтобы вы пришли после трех, — почти прошептала она. — Он только пять минут как лег.

— Поезд уходит в половине четвертого, — сказала мать.

Ее слова прозвучали коротко и уверенно, но в голосе, все таком же мирном, значения было больше, чем в словах. Впервые женщина, впуская их в дом, улыбнулась.

— Хорошо, — сказала она.

Дверь закрылась за нею снова, и теперь мать села около девочки. В узкой, бедно обставленной приемной было опрятно и чисто. По ту сторону деревянного барьера, делившего комнату надвое, стоял рабочий стол, простой, застланный клеенкой, а на нем — пишущая машинка старого образца и рядом ваза с цветами. Еще дальше, за столом, стояли приходские архивы. Чувствовалось, что порядок в кабинете поддерживает женщина одинокая.

Дверь снова открылась, и на этот раз, протирая носовым платком стекла очков, вышел священник. Только когда он надел очки, стало ясно, что он родной брат женщины, которая их впустила.

— Что вам угодно? — спросил он.

— Ключи от кладбища, — ответила мать.

Девочка продолжала сидеть, цветы лежали у нее на коленях, а ноги под скамейкой были скре-

щены. Священник посмотрел на нее, потом на мать, а потом, сквозь металлическую сетку, затягивавшую окно, на безоблачное, ослепительно яркое небо.

— В такую жару, — сказал он. — Могли бы подождать, пока солнце будет пониже.

Мать покачала головой. Священник прошел за барьер, достал из шкафа тетрадь в клеенчатой обложке, деревянный пенал и чернильницу и сел за стол. Волос на голове у него было мало, зато они в избытке росли на руках.

— Чью могилу хотите посетить? — спросил он.

— Карлоса Сентено, — ответила мать.

— Кого?

— Карлоса Сентено.

Падре по-прежнему не понимал.

— Вора, которого убили здесь в городке на прошлой неделе, — не меняя тона, сказала женщина. — Я его мать.

Священник пристально на нее посмотрел. Она ответила ему таким же взглядом, спокойная и уверенная в себе, и падре залился краской. Он опустил голову и начал писать. Заполняя страницу в клеенчатой тетради, он спрашивал у женщины, кто она и откуда; она отвечала без запинки, точно и подробно, словно читая по написанному. Падре начал потеть. Девочка расстегнула левую туфлю, подняла пятку и наступила на задник. То же самое она сделала и правой ногой.

Все началось в понедельник на прошлой неделе, в нескольких кварталах от дома священника. Сеньора Ребека, одинокая вдова, жившая в доме, полном всякого хлама, слышала сквозь шум дождя, как кто-то пытается открыть снаружи дверь ее дома. Она поднялась с постели, нашла на ощупь в гардеробе старинный револьвер, из которого никто не стрелял со времен полковника Аурелиано Буэндия, и, не включая света, пошла к двери. Ведомая не столько звуками в замочной скважине, сколько страхом, развившимся у нее за двадцать восемь лет одиночества, она определила в темноте, не подходя близко, не только где находится дверь, но и где расположена в ней замочная

скважина. Сжав револьвер обеими руками и выставив его вперед, она зажмурилась и нажала на спусковой крючок. Стреляла она первый раз в жизни. Когда выстрел прогремел, она сперва не услышала ничего, кроме шепота мелкого дождя на цинковой крыше. Потом на зацементированную площадку перед дверью упал какой-то небольшой металлический предмет, и спокойный, но невероятно усталый голос очень тихо сказал: «Ой, мама!» У человека, которого на рассвете нашли мертвым перед ее домом, был расплюснутый нос, на нем была фланелевая, в разноцветную полоску рубашка и обыкновенные штаны, подпоясанные вместо ремня веревкой, и еще он был босой. Никто в городке его не знал.

— Так, значит, звали его Карлос Сентено, — пробормотал, закончив писать, падре.

— Сентено Айяла, — уточнила женщина. — Он был единственный мужчина в семье.

Священник повернулся к шкафу. На гвозде, вбитом в дверцу, висели два больших ржавых ключа; именно такими представляли себе девочка, и ее мать, когда была девочкой, да и, должно быть, когда-то сам священник ключи святого Петра. Он снял их, положил на открытую тетрадь, лежавшую на барьере, и, взглянув на женщину, ткнул пальцем в исписанную страницу.

— Распишитесь вот здесь.

Женщина, зажав портфель под мышкой, стала неумело выводить свое имя. Девочка взяла цветы в руки, подошла, шаркая, к барьеру и внимательно посмотрела на мать.

Падре вздохнул.

— Никогда не пытались вернуть его на правильный путь?

Кончив писать, женщина ответила:

— Он был очень хороший.

Несколько раз переведя взгляд с матери на дочь, падре с жалостью и изумлением убедился в том, что плакать ни та, ни другая не собираются. Тем же неизменно ровным голосом женщина продолжала:

— Я ему говорила, чтобы никогда не крал у людей последнюю еду, и он меня слушался. А

раньше, когда он был боксером, его, бывало, так отделают, что по три дня не мог встать с постели.

— Ему все зубы выбили, — сказала девочка.

— Это правда, — подтвердила мать. — Для меня в те времена у каждого куска был привкус ударов, которые получал мой сын в субботние вечера.

— Неисповедимы пути Господни, — сказал священник.

Но сказал он это не очень уверенно, отчасти потому, что опыт сделал его немного скептиком, а отчасти из-за жары. Он посоветовал им накрыть чем-нибудь головы, чтобы избежать солнечного удара. Объяснил, позевывая и уже почти засыпая, как найти могилу Карлоса Сентено. На обратном пути, сказал он, им достаточно будет позвонить в дверь и потом просунуть под нее ключ, а также, если есть возможность, милостыню для церкви. Женщина выслушала его очень внимательно, но поблагодарила без улыбки.

Направляясь к наружной двери, чтобы ее открыть, падре увидел: прижавшись к металлической сетке носами, внутрь глядят какие-то дети. Когда он открыл, дети бросились врассыпную. Обычно в это время дня на улице не было ни души. Сейчас, однако, там были не только дети. Под миндальными деревьями стояли небольшие группки людей. Падре окинул взглядом улицу, преломленную в призме зноя, и понял. Мягким движением он снова затворил дверь.

— Подождите минутку, — сказал он, не глядя на женщину.

Дверь в глубине дома открылась, и оттуда вышла его сестра; поверх ночной рубашки она набросила черную кофту, а волосы у нее были теперь распущены и лежали на плечах. Она посмотрела молча на священника.

— Что случилось? — спросил он.

— Люди поняли, — прошептала сестра.

— Лучше им выйти через патио, — сказал падре.

— Да все равно, — сказала сестра. — Все повысовывались в окна.

Похоже было, что мать поняла только теперь. Она вглядывалась в сетку, пытаясь рассмотреть,

что делается на улице. Потом взяла у девочки цветы и пошла к двери. Девочка зашагала за нею следом.

— Подождите, пока опустится ниже солнце, — сказал падре.

— Вы расплавитесь, — добавила, стоя неподвижно в глубине комнаты, его сестра. — Подождите, я вам одолжу зонтик.

— Спасибо, — ответила женщина. — Нам и так хорошо.

Она взяла девочку за руку, и они вышли на улицу.

У НАС В ГОРОДКЕ ВОРОВ НЕТ

Дамасо вернулся с первыми петухами. Ана, его жена, беременная уже седьмой месяц, сидела, не раздеваясь, на постели и ждала его. Керосиновая лампа начинала гаснуть. Дамасо понял, что жена ждала его всю ночь, не переставала ждать ни на миг и даже сейчас, видя перед собой, по-прежнему ждет его. Он успокаивающе кивнул ей, но она не ответила, а испуганно уставилась на узелок из красной материи, который он принес, скривила губы, стараясь не заплакать, и задрожала. В молчаливой ярости Дамасо обеими руками схватил ее за корсаж. От него пахло перегаром.

Ана позволила поднять себя, а потом всей тяжестью упала к нему на грудь, прильнула лицом к его ярко-красной полосатой рубашке и зарыдала. Крепко обхватив мужа, она держала его до тех пор, пока наконец не успокоилась.

— Я сидела и заснула, — всхлипывая, проговорила она, — и вдруг вижу во сне — дверь открылась и в комнату втолкнули тебя, окровавленного.

Дамасо молча высвободился из объятий жены и посадил ее на кровать, туда, где она сидела до его прихода, потом бросил узелок ей на колени и вышел помочиться. Она развязала тряпку и увидела бильярдные шары, два белых и красный, потерявшие блеск, с щербинками от ударов.

Когда Дамасо вернулся, она удивленно их рассматривала.

— Зачем они? — спросила она.

Он пожал плечами:

— Чтобы играть в бильярд.

Дамасо снова завязал шары в красную тряпку и вместе с самодельной отмычкой, карманным фонариком и ножом спрятал их на дно сундука. Ана легла, не раздеваясь, лицом к стене. Дамасо снял только брюки. Выгянувшись на постели, он курил в темноте и пытался уловить в предрассветных шорохах хоть какие-нибудь отзвуки того, что он совершил; вдруг до него дошло, что жена не спит.

— О чем ты думаешь?

— Ни о чем, — сказала она.

От злости голос его стал еще глубже и ниже обычного. Дамасо затянулся в последний раз и загасил окурок о земляной пол.

— Другого ничего не было, — вздохнул он. — Зря проболтался целый час.

— Жаль, что тебя не пристрелили, — сказала Ана.

Дамасо вздрогнул.

— Типун тебе на язык, — пробормотал он и, постучав по краю деревянной кровати, стал шарить рукой по полу в поисках сигарет и спичек.

— Ну и осёл же ты! — сказала она. — Хоть бы подумал, что я дожидаюсь, не сплю, и каждый раз, как услышу шум на улице, мне кажется, что это несут тебя, мертвого. — Она вздохнула и добавила: — И все из-за каких-то трех бильярдных шаров.

— В ящике стола было только двадцать пять сентаво.

— Тогда не надо было брать ничего.

— Очень уж трудно было туда влезть, — сказал Дамасо. — Не мог же я уйти с пустыми руками.

— Ну, взял бы что-нибудь другое.

— Другого ничего не было, — повторил Дамасо.

— Нигде не встретишь столько разных вещей, как в бильярдной.

— Это только кажется, — сказал Дамасо. — А когда войдешь и оглядишься хорошенько, то увидишь, что нет ничего дельного.

Ана молчала. Дамасо представил себе, как она с открытыми глазами ищет во мраке памяти какой-нибудь ценный предмет из бильярдной.

— Может, оно и так, — сказала она.

Дамасо закурил опять. Хмель проходил, и постепенно возвращалось ощущение веса и объема своего тела и способность им управлять.

— Там внутри был кот, — добавил он. — Большущий белый кот.

Ана перевернулась на другой бок, прижалась раздувшимся животом к животу мужа и просунула ногу между его колен. От нее пахло луком.

— Очень страшно было?

— Кому, мне?

— А кому же? — сказала Ана. — Говорят, мужчинам тоже бывает страшно.

Он почувствовал, что она улыбается, и тоже улыбнулся.

— Не без того, — ответил Дамасо. — Чуть штаны не намочил.

Он дал поцеловать себя, но на поцелуй не ответил. Потом, с полным сознанием опасности, которой подвергся, но без тени раскаяния, словно делясь впечатлениями о путешествии, все ей подробно рассказал.

Она долго молчала.

— Глупость ты сделал.

— Самое главное — начать, — сказал Дамасо. — И вообще для первого раза не так уж плохо.

Было за полдень, и солнце палило неимоверно. Когда Дамасо проснулся, Ана была уже на ногах. Он сунул голову в фонтан и держал ее в воде до тех пор, пока не проснулся окончательно. Они занимали одну из многих одинаковых комнат в целой галерее с общим патио, рассеченным на части проволокой для сушки белья. Около входа в их комнату, отгороженные от патио листьями жести, стояли печка для стряпни и нагревания утюгов и стол для еды и глажения. Увидев мужа, Ана убрала со столика выглаженное белье и, чтобы сварить кофе, сняла с печки утюги. Она была крупнее Дамасо, совсем светлокожая и двигалась мягко и точно, как двигаются люди, не испытывающие никакого страха перед жизнью.

Сквозь туман головной боли Дамасо вдруг почувствовал, что жена взглядом пытается ему что-то сказать, и обратил наконец внимание на голоса в патио.

— Все утро только об этом и говорят, — прошептала Ана, подавая ему кофе. — Мужчины уже пошли туда.

Оглядевшись, Дамасо убедился, что и вправду мужчины и дети куда-то исчезли. Прихлебывая кофе, послушал, о чем говорят женщины, развешивающие белье. Потом закурил и вышел из кухни.

— Тереса, — позвал он.

Одна из девушек в мокром платье, облепившем тело, обернулась.

— Будь осторожен, — шепнула Ана.

Девушка подошла.

— Что случилось? — спросил Дамасо.

— Залезли в бильярдную и обчистили ее, — сказала девушка.

Она говорила так, будто знала все до мельчайших подробностей. Рассказала, как из заведения выносили вещь за вещь и в конце концов выволокли бильярдный стол. Она рассказывала настолько убежденно, что ему стало казаться, будто именно так все и было.

— Дьявольщина! — пробормотал он, вернувшись к Ане.

Ана стала что-то вполголоса напевать. Дамасо, пытаясь заглушить в себе беспокойство, придвинул стул вплотную к стене. Три месяца назад ему исполнилось двадцать лет, и тонкие усики, которые он отрастил и за которыми ухаживал с тайной самоотверженностью и даже с некоторой нежностью, придали мужественности его скованному оспой лицу. С тех пор он стал казаться себе зрелым и опытным, но сегодня утром, когда воспоминания прошлой ночи тонули в трясине головной боли, Дамасо не знал, как жить дальше.

Кончив гладить, Ана разделила белье на две равные стопки и собралась уходить.

— Возвращайся скорее, — сказал Дамасо.

— Как всегда.

Он последовал за ней в комнату.

— Вот тебе клетчатая рубашка, — сказала Ана. — Во фланелевой показываться теперь не стоит. — И, заглянув в его прозрачные кошачьи глаза, объяснила: — Почем знать, вдруг кто-нибудь тебя видел.

Дамасо вытер потные ладони о брюки.

— Никто меня не видел.

— Почем знать, — повторила Ана, подхватывая под мышки стопки белья. — И лучше тебе сейчас не выходить. Сперва пойду я, покручусь там немножко. Я не покажу виду, что мне это интересно.

Ничего определенного никто в городке не знал. Ане пришлось выслушать несколько раз, и каждый раз по-новому, подробности одного и того же события. Закончив разносить белье, она, вместо того чтобы, как всегда по субботам, отправиться на рынок, пошла на площадь.

Она увидела перед бильярдной меньше народу, чем ожидала. Несколько человек стояли и разговаривали в тени миндальных деревьев. Сирийцы, прикрыв от солнца головы цветными платками, обедали, и казалось, будто их лавки дремлют под своими брезентовыми навесами. В вестибюле гостиницы, развалившись в кресле-качалке, раскрыв рот и разбросав в стороны руки и ноги, спал человек. Все было парализовано полуденным зноем.

Ана прошла на некотором расстоянии от бильярдной. На пустыре перед входом стояли люди. И тогда она вспомнила то, что слышала от Дамасо и что знали все, но в памяти держали только завсегда: задняя дверь бильярдной выходит на пустырь. Спустя минуту, прикрывая живот руками, она уже стояла в толпе и смотрела на взломанную дверь. Висячий замок остался цел, но одна из петель была вырвана. Какое-то время Ана созерцала плоды скромного труда одиночки, а потом с жалостью подумала о Дамасо.

— Кто это сделал? — спросила она, ни на кого не глядя.

— Неизвестно, — ответил ей кто-то. — Говорят, приезжий.

— Да уж, конечно, не наш, — отозвалась женщина за ее спиной. — У нас в городке воров нет. Все друг друга знают.

Ана повернулась к ней и сказала, улыбаясь:

— Это верно.

Она вся обливалась потом. Рядом стоял дряхлый старик, на его лысом черепе пролегли глубокие морщины.

— Много унесли? — спросила она.

— Двести песо и еще бильярдные шары, — ответил старик, чересчур пристально ее разглядывая.

— Скоро глаз нельзя будет сомкнуть.

Ана отвернулась.

— Это верно, — снова сказала она.

Она прикрыла голову платком и пошла прочь. У Аны было чувство, будто старик смотрит ей вслед.

С четверть часа люди на пустыре стояли тихо, как будто за взломанной дверью лежал покойник. А потом народ зашевелился, все повернулись, и толпа вытекла на площадь.

Хозяин бильярдной стоял в дверях вместе с алькальдом и двумя полицейскими. Он был маленький и круглый, брюки без ремня туго обтягивали его большой живот, а очки на нем были похожи на те, которые делают для игры дети. От него исходило подавляющее всех чувство оскорбленного достоинства.

Его окружили. Ана, прислонившись к стене, стала слушать, что он рассказывает, и слушала до тех пор, пока толпа не начала редеть. Тогда, вся распаренная от жары, она отправилась домой и, миновав соседей, оживленно обсуждавших происшедшее, вошла в свою комнату.

Дамасо, провалявшийся все это время на кровати, снова и снова с удивлением думал, как это Ана, дожидаясь его прошлой ночью, могла не курить. Увидев, как она входит, улыбающаяся, и снимает с головы мокрый от пота платок, он раздавил едва начатую сигарету на земляном полу, густо усыпанном окурками, и с замиранием сердца спросил:

— Ну?

Ана опустила руку возле кровати на колени.

— Так ты, оказывается, не только вор, а еще и обманщик.

— Почему?

— Ты сказал мне, что в ящике ничего не было.

Дамасо сдвинул брови.

— Да, ничего.

— Там было двести песо, — сказала Ана.

— Вранье! — Дамасо повысил голос, потом приподнялся, сел и снова полусшепотом продолжал: — Всего двадцать пять сентаво.

Она поверила.

— Старый разбойник, — сказал Дамасо, сжимая кулаки. — Хочет, чтобы ему рожу разукрасили.

Ана весело рассеялась.

— Не болтай глупостей.

Он не выдержал и тоже расхохотался. Пока он брился, жена рассказала, что ей удалось узнать.

— Полиция ищет приезжего. Говорят, он приехал в четверг, а вчера вечером видели, как он крутился у двери,— сказала она.— Говорят, его до сих пор не нашли.

Дамасо подумал о чужаке, которого никогда не видел, и на какой-то миг ему показалось, будто тот и в самом деле виновник происшедшего.

— Может, он уехал, — сказала Ана.

Как всегда, Дамасо понадобилось три часа, чтобы привести себя в порядок. Сперва он тщательно подровнял усы. Потом умылся в фонтане. Со страстью, которую за время, прошедшее с их первого вечера, так ничто и не могло потушить, Ана наблюдала от начала до конца всю долгую процедуру его причесывания. Когда она увидела, как он, в красной клетчатой рубашке, прежде чем выйти из дому, смотрится в зеркало, она показалась себе старой и неряшливой. Дамасо с легкостью профессионального боксера стал перед ней в боевую позицию. Она схватила его за руки.

— Деньги у тебя есть?

— Я богач, — улыбаясь, ответил он, — ведь у меня двести песо.

Ана отвернулась к стене, достала из-за корсажа скатанные в трубочку деньги и, вынув один песо, протянула мужу.

— На, Хорхе Негрете.

Вечером Дамасо оказался с друзьями на площади. Люди, прибывавшие на базар из соседних деревень, устраивались на ночлег прямо среди ларьков со снедью и лотерейных столиков, и едва наступила темнота, как уже отовсюду доносился храп. Друзей Дамасо, судя по всему, интересовало не столько ограбление бильярдной, сколько радиопередача с чемпионата по бейсболу, которой им не удалось послушать из-за того, что заведение было закрыто. За горячими спорами о чемпионате друзья не заметили, как очутились около кинотеатра;

не стовариваясь и не поинтересовавшись даже, что показывают, они взяли билеты.

Шел фильм с Кантинфласом, Дамасо сидел в первом ряду балкона и весело хохотал, не испытывая никаких угрызений совести. Он чувствовал, что уже избавляется от своих переживаний. Была прекрасная июньская ночь, и в паузах между диалогами, когда слышался только стрекот проектора — будто моросил мелкий дождик, — над открытым кинотеатром нависало тяжелое молчание звезд.

Вдруг изображение на экране померкло и из глубины партера послышался шум. Вспыхнул свет, и Дамасо показалось, будто его обнаружили и все на него смотрят. Он вскочил было, но увидел, что зрители словно приросли к своим местам, а полицейский, намотав на руку ремень, яростно хлещет кого-то большой медной пряжкой. Хлестал он ею огромного негра. Закричали женщины, и полицейский тоже закричал, перекрывая их голоса:

— Ворюга! Ворюга!

Негр покатился между рядами, преследуемый двумя другими полицейскими, которые били его по спине. Наконец им удалось схватить его; тот, который хлестал пряжкой, своим ремнем скрутил ему руки за спиной, и все трое пинками погнали его к двери. Все произошло так быстро, что Дамасо понял, что случилось, только когда негра уже выводили из зала. Рубашка на негре была разорвана, потное лицо вымазано пылью и кровью. Он повторял, рыдая:

— Убийцы! Убийцы!

Свет погас, и снова стали показывать фильм.

Дамасо больше ни разу не засмеялся. Он курил сигарету за сигаретой и, глядя на экран, видел какие-то несвязные обрывки. Наконец снова загорелся свет, и зрители теперь переглядывались, словно напуганные явю.

— Вот здорово! — воскликнул кто-то с ним рядом.

— Кантинфлас хорош, — не взглянув на говорившего, сказал Дамасо.

Людской поток вынес его к двери. Торговки снедью, нагруженные своим имуществом, расхо-

дились по домам. Хотя шел двенадцатый час, на улице было много народу — ждали зрителей, чтобы узнать от них, как поймали негра.

На этот раз Дамасо прокрался в комнату так тихо, что, когда Ана в полусне почувствовала его присутствие, он, лежа на спине, докуривал уже вторую сигарету.

— Ужин на плите, — сказала она.

— Я не хочу есть, — ответил Дамасо.

Ана вздохнула.

— Мне приснилось, будто Нора лепит из масла фигурки мальчиков, — сказала она, еще не совсем проснувшись. И только теперь, поняв, что спала, что незаметно для себя заснула, она растерянно протерла глаза и повернулась к Дамасо. — Приезжего поймали, — сказала она.

Дамасо отозвался не сразу.

— Кто сказал?

— Поймали в кино, — начала рассказывать Ана. — Сейчас все пошли туда.

И она рассказала до неузнаваемости искаженную версию происшедшего в кино. Поправлять ее Дамасо не стал.

— Бедняга, — вздохнула Ана.

— Бедняга?! — вспыхнул Дамасо. — Ты что, хотела бы, чтобы на его месте был я?

Ана хорошо знала мужа и потому ничего ему не ответила. Она слушала, как он, хрипло дыша, курит — до тех пор, пока не запели первые петухи. Потом услышала, как он встает и, не выходя из комнаты, принимается на ощупь за какую-то непонятную работу. Услышала, как он копает землю под кроватью (это длилось больше четверти часа), а потом — как раздевается в темноте, стараясь делать все как можно тише и даже не подозревая, что все это время она, чтобы не мешать ему, притворялась спящей. Что-то шевельнулось в потаенных глубинах ее души, и она догадалась теперь, что Дамасо был в кино, и поняла, почему он зарыл шары под кроватью.

Бильярдная открылась в понедельник, и ее сразу заполнили возбужденные завсегдатаи. На бильярдный стол был брошен большой кусок фиоле-

товой ткани, что придавало заведению траурный вид. На стене висело объявление: «За отсутствием шаров бильярдная не работает». Вошедшие читали объявление с таким видом, будто это для них новость. Некоторые подолгу стояли перед ним, с удивительным упорством перечитывая его снова и снова.

Дамасо вошел одним из первых. Он провел на скамьях для болельщиков немалую часть своей жизни, и едва открылась дверь бильярдной, как он снова был там. Очень трудным, хотя и не очень долгим делом было выразить сочувствие. Дамасо через стойку хлопнул хозяина по плечу и сказал:

— Вот ведь неприятность какая, дон Роке!

Тот покивал с горькой улыбкой.

— Что поделаешь, — вздохнул он и продолжал обслуживать посетителей.

Дамасо, взобравшись на табурет у стойки, вперил взгляд в призрак стола под фиолетовым саваном.

— Чудно! — пробормотал он.

— Это точно, — согласился человек, сидевший на соседнем табурете. — Да еще на страстной неделе!

Когда почти все посетители разошлись по домам обедать, Дамасо сунул монетку в щель музыкального автомата и выбрал мексиканскую балладу, место которой на табло он знал на память. Дон Роке в это время переносил стулья и столики в глубину заведения.

— Зачем это вы? — спросил Дамасо.

— Хочу выложить карты. Надо же что-то делать, пока не пришлют шары.

Двигаясь неуверенно, как слепой, со стулом в каждой руке, он был похож на недавно овдовевшего.

— А когда их пришлют? — спросил Дамасо.

— Надеюсь, пройдет не больше месяца.

— К тому времени старые найдутся, — сказал Дамасо.

Дон Роке окинул удовлетворенным взглядом выстроившиеся в ряд столики.

— Не найдутся, — сказал он, вытирая рукавом лоб. — Негра не кормят уже с субботы, а он все

равно не говорит, где они. — Он посмотрел на Дамасо сквозь запотевшие стекла. — Наверняка бросил их в реку.

Дамасо закусил губу.

— А двести песо?

— Их тоже нет, — ответил дон Роке. — У него нашли только тридцать.

Они посмотрели в глаза друг другу. Дамасо не сумел бы объяснить, почему взгляд, которым они обменялись, показался ему взглядом двух соучастников. К концу дня Ана увидела из прачечной, как он возвращается домой: по-боксерски подсакивая, он наносил удары невидимому противнику. Она вошла к ним в комнату.

— Все в порядке, — сказал Дамасо. — Старик поставил на шарах крест и заказал новые. Сейчас надо только дождаться, чтобы об этой истории все забыли.

— А с негром как?

— Ничего страшного, — ответил Дамасо, пожав плечами. — Если шаров у него не найдут, им придется его выпустить.

После ужина Ана и Дамасо сели на улице у входной двери и разговаривали с соседями до тех пор, пока не замолчал динамик кино и не наступила тишина. Когда ложились спать, настроение у Дамасо было приподнятое.

— Я придумал чертовски выгодное дело, — сказал он.

Ана поняла, что Дамасо хочет поделиться с ней мыслью, которую вынашивал весь вечер.

— Пойду по городкам, украду шары в одном, продам в другом. Везде есть бильярдные.

— Доходишься, что тебя пристрелят.

— Выдумала, пристрелят, — сказал он. — Это только в кино бывает.

Он стоял посреди комнаты, переполненный радостными планами. Ана начала раздеваться, внешне безразличная, на самом же деле вся внимание.

— Накуплю вот столько костюмов. — И Дамасо показал рукой размеры воображаемого шкафа во всю стену. — Отсюда досюда. И еще куплю пятьдесят пар обуви.

— Помогай тебе Бог, — сказала она.

Дамасо нахмурился.

— Не интересуют тебя мои дела.

— Слишком они для меня мудреные. — Она погасила лампу, легла к стене и с горечью продолжала: — Когда тебе будет тридцать, мне будет сорок семь.

— Дуреха, — сказал Дамасо. Он ощупал карманы в поисках спичек. — Тебе не надо будет тогда стирать белье, — добавил он не совсем уверенно.

Ана протянула ему горящую спичку. Она смотрела на пламя, пока оно не погасло, а потом отбросила обуглившуюся спичку в сторону. Дамасо вытянулся в постели и снова заговорил:

— Знаешь, из чего делают бильярдные шары?

Ана не ответила.

— Из слоновьих бивней. Поэтому их очень трудно раздобыть, и пройдет по крайней мере месяц, пока их сюда доставят. Понятно?

— Спи, — прервала его Ана. — Мне в пять вставать.

Дамасо вернулся в свое естественное состояние. Первую половину дня он проводил, покуривая, в постели, а после сиесты, готовясь к выходу на улицу, начинал приводить себя в порядок. Вечерами он слушал в бильярдной радиопередачи с чемпионата по бейсболу. У него была похвальная способность забывать свои идеи с таким же энтузиазмом, с каким он их порождал.

— У тебя есть деньги? — спросил он в субботу у Аны.

— Одиннадцать песо. — И добавила мягко: — Это за квартиру.

— Я хочу тебе кое-что предложить.

— Что?

— Одолжи их мне.

— Надо платить хозяину.

— Потом заплатишь.

Она отрицательно покачала головой. Схватив ее за руку, Дамасо не дал ей подняться из-за стола, за которым они только что завтракали.

— Всего на несколько дней, — сказал он, ласково и в то же время рассеянно поглаживая ее руку. — Когда продам шары, будут деньги на все.

Ана не согласилась.

Этим вечером в кино, даже разговаривая в перерыве с друзьями, Дамасо не снимал руки с ее плеча. Картину они смотрели невнимательно. Под конец Дамасо стал проявлять нетерпение.

— Тогда мне придется где-нибудь их украсть, — сказал он.

Она пожала плечами.

— Придушу первого встречного, — пригрозил Дамасо, проталкивая ее сквозь выходящую из кино толпу. — Меня посадят за убийство.

Ана улыбнулась про себя, но осталась такой же непреклонной.

Они ссорились всю ночь, а утром Дамасо демонстративно и угрожающе быстро оделся и, проходя мимо Аны, буркнул:

— Не жди, больше не вернусь.

Ана не смогла подавить дрожь.

— Счастливого пути! — крикнула она вслед.

Дамасо захлопнул за собой дверь, и для него началось бесконечно пустое воскресенье. Кричащая пестрота рынка и яркая одежда женщин, выходящих с детьми из церкви после восьмичасовой мессы, оживляли площадь веселыми красками, но воздух уже густел от жары.

Он провел день в бильярдной. Утром несколько мужчин играли там в карты, ближе к обеду народу ненадолго прибавилось, но было ясно, что прежнюю свою привлекательность заведение утратило. Только вечером, когда началась передача с бейсбольного чемпионата, заведение наполнилось жизнью, хоть в какой-то мере напоминавшей былую.

После закрытия бильярдной Дамасо вдруг увидел, что бредет без цели и направления по какой-то площади, которая словно истекала кровью. Он пошел по улице, что тянулась параллельно набережной, на звуки веселой музыки, доносившиеся издалека. Дамасо увидел огромный и пустой танцевальный зал, украшенный только гирляндами выгоревших бумажных цветов, а в глубине его, на деревянной эстраде, не-

большой оркестр. Воздух был напоен удушающим запахом помады.

Он сел у стойки. Когда музыкальная пьеса кончилась, юноша, игравший в оркестре на тарелках, обошел танцевавших мужчин и собрал деньги. Какая-то девушка оставила своего партнера и подошла к Дамасо.

— Как дела, Хорхе Негрете?

Дамасо усадил ее рядом. Буфетчик, напудренный и с цветком гвоздики за ухом, спросил фальцетом:

— Что будете пить?

Девушка повернулась к Дамасо.

— Что мы будем пить?

— Ничего.

— За мой счет.

— Дело не в деньгах, — сказал Дамасо. — Я хочу есть.

— Какая жалость! — вздохнул буфетчик. — С такими-то глазами!..

Они прошли в столовую в глубине зала. Судя по фигуре, девушка была совсем юной, но слой румян и пудры на лице и ярко покрашенные губы скрывали ее настоящий возраст. Кончив есть, Дамасо пошел с ней в ее комнату в глубине темного патио, где слышалось дыхание спящих животных. На кровати лежал грудной ребенок, завернутый в цветное тряпье. Девушка перенесла тряпье в деревянный ящик, туда же положила ребенка и поставила ящик на пол.

— Его могут съесть мыши, — сказал Дамасо.

— Они детей не едят, — сказала она.

Она сменила красное платье на другое, более открытое, с крупными желтыми цветами.

— Кто папа? — спросил Дамасо.

— Понятия не имею, — сказала она. И, подойдя к двери, добавила: — Сейчас вернусь.

Дамасо услышал, как она повернула ключ в замке. Он повесил одежду на стул, лег и выкурил одну за другой несколько сигарет. Постель вибрировала в такт мамбо. Дамасо не заметил, как заснул. Когда он проснулся, музыки не было, и от этого комната показалась ему еще больше.

Девушка раздевалась около кровати.

— Сколько сейчас?

— Около четырех. Ребенок не плакал?

— Вроде бы нет, — ответил Дамасо.

Девушка легла рядом и, разглядывая его слегка помутневшими глазами, начала расстегивать ему рубашку. Дамасо понял, что она изрядно выпила. Он хотел было погасить лампу.

— Оставь, — сказала она. — Мне так нравится смотреть в твои глаза.

Комнату наполнили звуки утра. Ребенок заплакал. Девушка взяла его в постель, дала ему грудь и стала напевать, не открывая рта, какую-то простую песенку. Наконец они все уснули. Дамасо не слышал, как около семи девушка проснулась и вышла из комнаты; вернулась она уже без ребенка.

— Все идут на набережную, — сказала она.

Дамасо чувствовал себя как человек, не проспавший и одного часа.

— Зачем?

— Посмотреть на негра, который украл шары, — ответила она. — Его сегодня отправляют.

Дамасо закурил.

— Бедняга, — вздохнула девушка.

— Бедняга? — взорвался Дамасо. — Никто не заставлял его воровать.

Девушка задумалась, опустив голову на грудь, а потом сказала, понизив голос:

— Это сделал не он.

— Кто сказал?

— Я точно знаю. В ночь, когда забрались в бильярдную, негр был у Глории и провел у нее весь следующий день до самого вечера. А потом пришли из кино и рассказали, что его арестовали там.

— Глория может сказать об этом полиции.

— Негр сам сказал. Алькальд пришел к Глории, перевернул у нее в комнате все вверх дном и угрозил, что посадит ее как соучастницу. В конце концов она заплатила двадцать песо, и все уладилось.

Дамасо встал около восьми.

— Оставайся, — сказала девушка, — зарежу на обед курицу.

Дамасо стряхнул волосы с расчески, которую держал в руке, и сунул ее в задний карман брюк.

— Не могу, — сказал он.

Взяв девушку за руки, он привлек ее к себе. Она уже умылась и оказалась действительно очень юной, с огромными черными глазами, и придававшими ей какой-то беззащитный вид. Она обняла его и повторила:

— Останься.

— Навсегда?

Слегка покраснев, она отпустила его.

— Обманщик.

Ана чувствовала в это утро себя усталой, однако общее волнение передалось и ей. Скорей обычного собрав у своих клиентов белье для стирки, она пошла на набережную посмотреть, как будут отправлять негра. У причалов, перед судами, готовыми к отплытию, гудела нетерпеливая толпа. Тут же был и Дамасо.

Ана ткнула его указательным пальцем в поясницу.

— Что ты здесь делаешь? — подпрыгнув от неожиданности, спросил Дамасо.

— Пришла с тобой попрощаться.

Дамасо постучал по деревянному фонарному столбу.

— Типун тебе на язык, — сказал он.

Закурив, он бросил пустой коробок в реку. Ана достала из-за корсажа другой и положила в карман его рубашки. Дамасо не выдержал и улыбнулся.

— Вот дура, — сказал он.

Она рассмеялась.

Вскоре появился негр. Его провели посередине площади — руки были связаны за спиной веревкой, конец которой держал полицейский. По бокам шли двое полицейских с винтовками. Негр был без рубашки, нижняя губа у него была рассечена, а бровь распухла, как у боксера. Взглядов толпы он избегал с достоинством жертвы. У дверей бильярдной, где, чтобы наблюдать обе главные фигуры спектакля, собралось больше всего зрителей, молча стоял и

смотрел на него, укоризненно покачивая головой, хозяин заведения. Люди пожирали негра глазами.

Баркас поднял якорь. Негра повели по палубе к цистерне с нефтью и привязали к ней за руки и за ноги. Когда на середине реки баркас развернулся и дал последний гудок, спина негра ярко блеснула.

— Бедняга, — прошептала Ана.

— Преступники, — сказал кто-то рядом с ней.
— Разве может человек вынести такое солнце?

Дамасо повернул голову и увидел, что сказала это какая-то невероятно толстая женщина. Он начал пробиваться через толпу к площади.

— Много болтаешь, — прошипел он на ухо Ане. — Ты бы еще заорала на всю площадь.

Она проводила его до бильярдной.

— Хоть бы переоделся, — сказала она, прежде чем уйти. — А то прямо как нищий.

Новость собрала в заведении шумную толпу посетителей. Стараясь всем угодить, дон Роке обслуживал сразу по нескольку столиков. Дамасо ждал, чтобы он прошел мимо него.

— Хотите, помогу?

Дон Роке поставил перед ним полдюжины бутылки пива с надетыми на горлышко стаканами.

— Спасибо, сынок.

Дамасо разнес бутылки по столикам, принял заказы и продолжал приносить и уносить бутылки до тех пор, пока посетители не разошлись по домам обедать. Когда на рассвете он вернулся домой, Ана поняла, что он пьян. Она взяла его руку и приложила к своему животу.

— Пощупай, — сказала она. — Слышишь?

Дамасо не обнаружил никакой радости.

— Шевелится, — продолжала она. — Целую ночь бил ножками.

Но ему это, судя по всему, было безразлично. Занятый своими мыслями, Дамасо ушел из дому рано и вернулся только после полуночи. Так прошла неделя. В те редкие минуты, которые он проводил, лежа в постели и покуривая, Дамасо избегал разговоров. Ана стала теперь к нему особенно внимательной. В начале их совместной жизни был случай, когда он вел себя так же, а она не знала его

характера и надоедала ему. И тогда, сев на нее в постели верхом, он избил ее в кровь.

Теперь она запаслась терпением. Еще с вечера клала у лампы пачку сигарет — знала, что ему легче вынести голод и жажду, чем отсутствие курева. И вот как-то в середине июля Дамасо пришел домой вечером. Ана подумала, что он, должно быть, уже успел здорово перебраться, раз вернулся так рано, и встревожилась. Вид у него был какой-то отупевший и потерянный. Поели молча, но, когда ложились спать, у Дамасо вдруг вырвалось:

— Уехать хочу.

— Куда?

— Куда-нибудь.

Ана обвела комнату взглядом. Журнальные обложки, которые она сама отрезала и налепляла, пока не обклеила все стены цветными фотографиями киноактеров, выцвели и порвались. Она потеряла счет мужчинам, которые, глядя с ее кровати на эти фотографии, постепенно поглощали их цвет и уносили его с собой.

— Тебе со мной скучно, — сказала Ана.

— Дело не в этом, — сказал Дамасо, — а в городке.

— Наш городок такой же, как все другие.

— Невозможно продать шары.

— Забудь ты о них, — сказала Ана. — Пока Бог дает мне силы стирать, тебе нет нужды заниматься всякими темными делами.

И, помолчав, добавила осторожно:

— Удивляюсь, как тебе пришло в голову это сделать.

Дамасо докурил сигарету и ответил:

— Так легко было, что я понять не могу, почему никто другой не додумался.

— В смысле денег — да, — согласилась Ана. — Но чтобы прихватить шары — другого дурака не нашлось бы.

— Просто я не сообразил, — сказал Дамасо. — Мне это пришло в голову, когда я увидел их в коробке за стойкой и подумал: как трудился, а уйти придется с пустыми руками.

— Несчастливая твоя звезда, — сказала Ана.

На душе у Дамасо стало легче.

— А новых не шлют, — сказал он. — Сообщили, что они вздорожали, и дон Роке говорит, что теперь ему невыгодно.

Он закурил новую сигарету и, рассказывая, почувствовал, что сердце его словно очищается от чего-то темного.

Дамасо рассказал, что хозяин заведения решил продать бильярдный стол, хоть много за него теперь и не выручишь. Сукно из-за неумелой игры начинающих сплошь в дырах и разноцветных заплатках, и надо заменять его новым. А пока для любителей, состарившихся вокруг бильярда, единственным развлечением остаются передачи с чемпионата по бейсболу.

— Вышло так, — закончил Дамасо, — что мы хоть и не хотели, подложили всем свинью.

— И никакой пользы не имеем, — добавила Ана.

— А на следующей неделе и чемпионат кончится, — сказал Дамасо.

— Не это самое плохое, — сказала Ана. — Самое плохое во всей этой истории — негр.

Она лежала, положив голову к нему на плечо, как в былые времена, и чувствовала, о чем он думает. Подождала, пока он докурит сигарету, а потом сказала боязливо:

— Дамасо.

— Что тебе?

— Верни их.

Он закурил новую сигарету.

— Я уже сам об этом несколько дней думаю, — сказал он. — Только не знаю, как это сделать.

Они сговорились было оставить шары в каком-нибудь людном месте, но потом Ана подумала, что, хотя это и разрешит проблему бильярдной, дело с негром все равно не будет улажено. Полиция может по-разному объяснить появление шаров, не снимая с негра вины. Может случиться и другое: шары попадут в руки человека, который не вернет их, а оставит себе, надеясь потом продать.

— Уж если взялся за что-то, надо делать как следует, — заключила она.

Они выкопали шары. Ана завернула их в газету так, чтобы сверток не обнаруживал их формы, и положила в сундук.

— Теперьждемся подходящего случая, — сказала она.

Но прошло две недели, а случай все не подвертывался. Поздно вечером двадцатого августа, ровно через два месяца после кражи, Дамасо, придя в бильярдную, увидел дона Роке за стойкой; пальмовым веером он отгонял насекомых. Радио молчало, и это еще сильнее подчеркивало его одиночество.

— Ну, что я тебе говорил?! — воскликнул дон Роке, словно радуясь, что его предсказание сбылось. — Все пошло к черту!

Дамасо опустил монету в музыкальный автомат. Мощный звук и разноцветные мелькающие огни во всеуслышание, как ему показалось, подтверждали его преданность бильярдной. Однако дон Роке, похоже, этого не ощущал. Дамасо сел рядом с ним и попытался утешить, но аргументы его звучали малоубедительно и сбивчиво. Дон Роке слушал с безразличным видом, лениво обмахиваясь веером.

— Ничего не поделаешь, — сказал он. — Чемпионат по бейсболу не мог длиться вечно.

— Но шары могут найтись.

— Не найдутся.

— Не мог же негр съесть их.

— Полиция искала повсюду, — с раздражающей уверенностью сказал дон Роке. — Он бросил их в реку.

— А вдруг случится чудо и шары найдутся?

— Брось фантазировать, сынок, — ответил дон Роке. — Дело гиблое. Ты что, веришь в чудеса?

— Иногда.

Когда Дамасо покинул заведение, из кино еще не выходили. Чудовищно глупые фразы то смолкали, то снова разносились над спящим городком, и немногие двери, еще остававшиеся открытыми, казалось, вот-вот закроются. Побродив малость по площади, Дамасо направился к танцевальному залу.

В зале был только один посетитель, оркестр играл специально для него, и он танцевал с двумя

женщинами сразу. Остальные женщины чинно сидели вдоль стен, словно дожидаясь какого-то известия. Дамасо занял столик, махнул буфетчику, чтобы тот подал пива. Он стал пить прямо из бутылки, отрываясь, только чтобы перевести дыхание, и наблюдал сквозь стекло за мужчиной, танцующим с двумя женщинами. Обе они были выше своего партнера.

В полночь появились женщины, которые были в кино, а вслед за ними и мужчины. Среди женщин оказалась и подруга Дамасо. Она села к нему за столик.

Дамасо даже не посмотрел на нее. Он выпил уже полдюжины пива и по-прежнему не отрывал взгляда от танцора. Тот танцевал уже с тремя женщинами, но не обращал на них никакого внимания, а был поглощен только тем, что выделывали его ноги. Он казался счастливым, и было видно, что он стал бы еще счастливее, если бы, кроме рук и ног, у него был также и хвост.

— Этот тип мне не нравится, — сказал Дамасо.

— Тогда не смотри на него, — посоветовала девушка.

Она попросила буфетчика принести ей выпить. Площадка заполнялась танцующими парами, но мужчина с тремя женщинами по-прежнему чувствовал себя так, будто он один в зале. Во время какого-то па его взгляд встретился со взглядом Дамасо; мужчина заработал ногами еще бойчее и, улыбнувшись, показал свои мелкие заячьи зубы. Дамасо не мигая выдержал его взгляд, и в конце концов тот перестал улыбаться и отвернулся.

— Считает себя весельчаком, — сказал Дамасо.

— Он и вправду весельчак, — отозвалась девушка. — Каждый раз, когда приезжает, заказывает музыку за свой счет, как все коммивояжеры.

Дамасо посмотрел на нее блуждающим взглядом.

— Тогда иди к нему, — сказал он. — Где кормятся трое, хватит и для четвертой.

Она ничего не ответила, а только повернула голову в сторону площадки для танцев, отхлебывая из стакана маленькими глотками. В бледно-желтом

платье она казалась особенно робкой и нерешительной.

Они пошли танцевать. Дамасо становился все мрачней.

— Я умираю от голода, — сказала девушка и, схватив его за локоть, потащила за собой к стойке. — Тебе тоже надо поесть.

Весельчак шел со своими тремя женщинами им навстречу.

— Послушайте, — сказал Дамасо.

Мужчина улыбнулся, но не замедлил шага. Дамасо стряхнул с себя руки спутницы и преградил ему дорогу.

— Мне не нравятся ваши зубы.

Мужчина побледнел, но продолжал улыбаться.

— Мне тоже, — сказал он.

Прежде чем девушка успела остановить Дамасо, он двинул мужчину кулаком в лицо, и тот так и сел на середине площадки. Никто из посетителей не вмешался. Три женщины с визгом обхватили Дамасо, пытаясь оттащить его в сторону, а его спутница стала отталкивать его в глубину зала. Мужчина с разбитым, почти вмятым лицом встал на ноги, подпрыгнул, как обезьяна, на середине площадки и крикнул:

— Играйте!

К двум часам ночи заведение почти опустело, и женщины без клиентов сели ужинать. Было жарко. Девушка принесла тарелку риса с фасолью и жареным мясом и, усевшись за столик, стала есть все это одной ложкой. Дамасо бессмысленно глядел на неё. Она протянула ему ложку риса.

— Открой рот.

Дамасо уткнулся подбородком в грудь и качнул головой.

— Это для женщин, — сказал он. — Мы, мужчины, не едим.

Чтобы встать, ему пришлось упереться руками в стол. Когда он смог наконец обрести равновесие, то увидел, что перед ним стоит, скрестив руки, буфетчик.

— Девять восемьдесят, — сказал тот. — Этот монастырь не государственный.

Дамасо отстранил его.

— Педерастов не люблю, — сказал он

Буфетчик схватил было его за руки, но, взглянув на девушку, отпустил и только сказал вслед:

— Потом поймешь, как много ты потерял.

Дамасо вышел пошатываясь. Таинственный серебристый блеск реки под луной прорезал было в его мозгу светлую щель, но она тут же исчезла. Когда, уже на другом конце городка, Дамасо увидел дверь своей комнаты, он готов был поспорить, что всю дорогу домой прошел во сне. Он потряс головой. Смутное, но сильное чувство подсказало ему, что начиная с этой секунды он должен следить за каждым своим движением. Тихонько, чтобы не скрипнула, он толкнул дверь.

Ана проснулась и услышала, что он роется в сундуке. В глаза ей ударил свет карманного фонарика, и она повернулась лицом к стене, но вдруг поняла, что Дамасо не раздевается. Внезапное озарение словно подбросило ее, и она села в постели. Дамасо со свертком и карманным фонариком стоял около открытого сундука.

Он приложил палец к губам.

Ана соскочила с постели.

— Ты с ума сошел, — прошептала она и, подбежав к двери, быстро закрыла ее на засов.

Дамасо сунул фонарик вместе с ножом и остроконечным напильником в карман брюк и со свертком под мышкой двинулся прямо на нее. Ана загродила дверь спиной.

— Пока я жива, ты отсюда не выйдешь, — вполголоса сказала она.

Дамасо попытался оттолкнуть ее.

— Уйди, — прохрипел он.

Ана вцепилась в косяк обеими руками. Они не мигая глядели друг другу в глаза.

— Ты осёл, — прошептала Ана. — Бог тебя наградил красивыми глазами, но обделил умом.

Дамасо схватил ее за волосы, вывернул руку и заставил нагнуться, процедив сквозь зубы:

— Сказал, уйди!

Ана посмотрела на него сбоку глазом, вывороченным, как у быка под ярмом. На миг ей показало

лось, что она может вытерпеть любую боль и что она крепче мужа, но он заламывал ей руку все сильнее и сильнее. Наконец она не выдержала, и к ее горлу подступили слезы.

— Ребенка убьешь, — сказала она.

Дамасо схватил ее и перенес на кровать. Едва почувствовав себя свободной, она прыгнула ему на спину и, сцепившись, они повалились на постель. Оба задыхались.

— Сейчас закричу, — шепнула Ана ему на ухо. — Пошевелись только, начну кричать.

Дамасо захрипел в глухой ярости и стал бить ее по коленям свертком с шарами. Громко застонав, Ана разжала ноги, но тут же, чтобы не пустить его к двери, крепко обхватила руками и принялась уговаривать.

— Честное слово, сама отнесу их завтра, — обещала она. — Беременную меня все равно не посадят.

Дамасо вырвался.

— Тебя все увидят, — сказала Ана. — Сегодня светло, полная луна — ты, дурак, даже этого понять не можешь.

Она попыталась снова удержать его, не дать ему вынуть засов из двери, а потом, зажмурив глаза, замолотила по его лицу и шее кулаками, почти крича:

— Зверь, зверь!

Дамасо попытался защититься, и тогда она, ухватившись за деревянный засов, большой и тяжелый, вырвала его из рук Дамасо и замахнулась, целя ему в голову. Дамасо увернулся, и удар пришелся по его плечу; кость зазвенела, как стекло.

— Шлюха! — взвыл он.

Он уже не думал о том, что не надо поднимать шума. Он ударил Ану наотмашь кулаком по уху и услышал глубокий стон и тяжелый удар тела о стену, но даже не взглянул на нее и вышел из комнаты. Дверь осталась открытой.

Оглушенная болью, Ана лежала на полу и ждала: вот-вот что-то случится у нее в животе. Из-за стены ее окликнули глухим, замогильным

голосом. Она закусила губу, чтобы не разрыдаться. Потом поднялась на ноги и оделась. Ей не пришло в голову, как не пришло в голову и в тот раз, когда он уходил за шарами, что Дамасо еще ждет за дверью, понимая, что план его никуда не годится, и надеясь, что она закричит или побежит за ним, чтобы удержать. Ана повторила ту же ошибку: вместо того чтобы броситься догонять мужа, она обулась, закрыла дверь и села на кровать ждать его.

Только тогда, когда дверь закрылась, Дамасо понял, что путь к отступлению отрезан. До конца улицы его провожал лай собак, но потом наступило какое-то призрачное молчание. Он шел по мостовой, стараясь уйти от звука собственных шагов, казавшихся такими чужими и громкими в тишине спящего города. Пока он не очутился на пустыре перед ветхой дверью бильярдной, никаких мер предосторожности он не принимал.

Зажигать фонарик на этот раз не понадобилось. Укреплена была только сама дверь, в том месте, откуда он вырвал тогда петлю. Остальное все было прежним. Отведя замок в сторону, Дамасо подсунил правой рукой заостренный конец напильника под другую петлю и задвигал им взад-вперед с силой, но без ожесточения; и вот наконец брызнул жалостный фонтан гнилых древесных крошек, и дерево подалось.

Прежде чем толкнуть осевшую дверь, он, чтобы она не задевала за кирпичи пола, приподнял ее. Приоткрыв ее сначала совсем немного, он снял ботинки и сунул их вместе со свертком внутрь, а потом вошел, крестясь, в залитое лунным светом помещение.

Сперва он миновал темный проход, загроможденный пустыми бутылками и ящиками. Дальше, в снопе лунного света из застекленного слухового окна, стоял бильярдный стол, за ним — шкафы, повернутые к Дамасо задней стенкой, и в конце, с внутренней стороны главного входа, — баррикада из стульев и столиков. Все было так же, как в первый раз, если не считать снопа света и отчетливой тишины. Дамасо, которому

до этой минуты приходилось усилием воли превозмогать напряжение, поддался каким-то странным чарам.

Теперь он уже не обращал внимания на выступающие кирпичи пола. Прижав дверь ботинками, он пересек лунную дорожку и включил фонарик, чтобы отыскать за стойкой коробку для шаров. Об осторожности он позабыл. Ведя луч фонаря слева направо, увидел груды покрытых пылью бутылок, пару стремян со шпорами, скатанную рубашку, испачканную машинным маслом, и, наконец, коробку для шаров — на том же месте, где оставил ее в прошлый раз. Но потом свет его фонарика передвинулся дальше, и тут Дамасо увидел кота.

Животное без всякого интереса смотрело на него сквозь свет фонаря. Дамасо все светил на него и вдруг с легкой дрожью вспомнил, что никогда не видел кота в бильярдной днем. Он приблизил к нему руку с фонариком и сказал «брысь!», однако кот не обратил на это никакого внимания. Но тут в голове у Дамасо произошел беззвучный взрыв, и кот навсегда исчез из его памяти. Когда Дамасо понял, что случилось, фонарик уже выпал у него из рук, а сам он стоял и крепко прижимал к груди сверток с шарами. Бильярдная была залита светом.

— Эй!

Он узнал голос дон Рокке и, ощущая страшную усталость в спине, медленно выпрямился. Дон Рокке, в одних трусах и с железной палкой в руке, очумелый от света, приближался к нему из глубины заведения. За бутылками и пустыми ящиками, мимо которых Дамасо прошел вначале, висел гамак. Гамака тоже не было в первый раз.

Когда расстояние между ними сократилось до десяти метров, дон Рокке подпрыгнул и приготовился к защите. Дамасо спрятал руку со свертком за спину. Дон Рокке сощурился и вытянул голову, сиюсья разглядеть его своими близорукими глазами без очков.

— Так это ты, парень! — изумленно воскликнул он.

Дамасо показалось, будто пришел конец чему-то длившемуся бесконечно. Дон Роке опустил железную палку и подошел к нему с разинутым от удивления ртом. Без очков и вставных челюстей его можно было принять за женщину.

— Что ты здесь делаешь?

— Ничего, — сказал Дамасо, незаметно меняя позу.

— Что это у тебя? — спросил дон Роке.

Дамасо отступил назад.

— Ничего, — повторил он.

Дон Роке покраснел и начал дрожать.

— Что это у тебя? — крикнул он, замахиваясь палкой и делая шаг вперед.

Дамасо протянул ему сверток. Дон Роке, по-прежнему настороже, взял сверток левой рукой и ощупал его пальцами. И только теперь он понял.

— Не может быть, — сказал он.

Он был так ошеломлен, что положил железную палку на стойку и, разворачивая бумагу, казалось, совсем забыл о Дамасо. В глубоком молчании он стал разглядывать шары.

— Я давно собирался их положить, — сказал Дамасо.

— Не сомневаюсь, — отозвался дон Роке.

Дамасо побледнел как смерть. Алкоголь улетучился, остались только привкус земли во рту и смутное ощущение одиночества.

— Так вот оно, чудо, — сказал дон Роке, снова заворачивая шары. — Не могу поверить, что ты такой дурак.

Когда он поднял голову, выражение его лица было уже совсем другим.

— А двести песо?

— В ящике ничего не было, — сказал Дамасо.

Дон Роке задумчиво посмотрел на него, жуя губами, и расплылся в улыбке.

— Ничего не было, — повторил он несколько раз. — Ничего, значит, не было. — И, снова схватив железную палку, добавил: — Это ты расскажешь сейчас алькальду.

Дамасо вытер потные ладони о брюки.

— Вы же знаете, что там ничего не было.

Дон Роке все так же улыбался.

— Там было двести песо, — сказал он. — И сейчас их выбьют из твоей шкуры не столько за то, что ты ворюга, сколько за то, что ты дурак.

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ДЕНЬ В ЖИЗНИ БАЛЬТАСАРА

Клетка была готова, и Бальтасар по привычке повесил ее под навес крыши. И он еще не кончил завтракать, а уж все вокруг говорили, что это самая красивая клетка на свете. Столько народу торопилось посмотреть на нее, что перед домом собралась толпа, и Бальтасару пришлось снять клетку и унести назад в мастерскую.

— Побрейся, — сказала Урсула, — а то ты похож на капуцина.

— Плохо бриться сразу после завтрака, — сказал Бальтасар.

У него была двухнедельная борода, короткие волосы, жесткие и торчащие, как грива у мула, и лицо испуганного ребенка. Однако выражение этого лица было обманчиво. В феврале Бальтасару исполнилось тридцать, в незаконном и бездетном сожителстве с Урсулой он пребывал уже четыре года, и жизнь давала ему много оснований для осмотрительности, но никаких для того, чтобы чувствовать себя испуганным. Ему не приходило в голову, что клетка, которую он только что закончил, может показаться кому-то самой красивой на свете. Для него, с детства привыкшего делать клетки, эта последняя работа была лишь чуть трудней первых.

— Тогда отдохни, — сказала женщина. — С такой бородой нельзя выйти на люди.

Он послушно лег в гамак, но ему то и дело приходилось вставать и показывать клетку соседям. Урсула сначала не обращала на нее никакого внимания. Она была недовольна, что он совсем перестал столярничать и две недели занимался одной только клеткой, плохо спал, вздрагивал, разговаривал во сне и ни разу не вспомнил о том, что надо побриться. Но когда она увидела клетку, ее недовольство прошло. Пока Бальтасар спал, Урсула выгладила ему рубашку и брюки, повесила их на

стул рядом с гамаком и перенесла клетку на стол, в комнату. Там она молча стала ее разглядывать.

— Сколько ты за нее получишь? — спросила она, когда он проснулся после сиесты.

— Не знаю, — сказал Бальтасар. — Попрошу тридцать песо — может, дадут двадцать.

— Проси пятьдесят, — сказала Урсула. — Ты недосыпал две недели. И потом, она большая. Знаешь, это самая большая клетка, какую я только видела.

Бальтасар начал бриться.

— Думаешь, дадут пятьдесят?

— Для дон Хосе Монтьеля такие деньги пустяк, а клетка стоит больше, — сказала Урсула. — Тебе бы надо шестьдесят просить.

Дом плавал в удушающе-знойной полутени, и от стрекота цикад жара казалась еще невыносимей. Покончив с одеванием, Бальтасар, чтобы хоть немного проветрить, распахнул дверь в патио, и тогда в комнату вошли ребяташки.

Новость уже распространилась. Доктор Октавио Хиральдо, довольный жизнью, но измученный своей профессией, думал, завтракая в обществе хронически больной жены, о новой клетке Бальтасара. На внутренней террасе, куда они выносили стол в жаркие дни, стояло множество горшков с цветами и две клетки с канарейками. Жена доктора любила своих птиц, любила так сильно, что кошки, существа, способные их съесть, вызывали у нее жгучую ненависть. Доктор Хиральдо думал о жене, когда во второй половине дня, возвращаясь от больного, зашел к Бальтасару посмотреть, что у него за клетка.

В доме у Бальтасара было полно народу. На столе красовался огромный проволочный купол, в нем было три этажа. С маленькими переходами, с отделениями для еды и для сна и с трапециями в специально отведенном для отдыха птиц месте, он казался макетом гигантской фабрики по производству льда. Не прикасаясь к клетке, врач внимательно ее оглядел и подумал, что на самом деле клетка превосходит даже то, что он о ней слышал, и несравненно прекраснее всего, о чем он мечтал для своей жены.

— Настоящий подвиг фантазии, — сказал он. Добрый, почти материнский взгляд его отыскал Бальтасара, и доктор добавил: — Из тебя получился бы прекрасный архитектор.

Бальтасар густо покраснел.

— Спасибо, — сказал он.

— Это правда, — отозвался врач. У него были изящные руки, и он был полный и гладкий, как некогда красивая женщина, а голос его звучал как голос священника, говорящего по-латыни. — В нее и птиц не надо сажать, — сказал он, поворачивая клетку перед глазами любопытных, будто он предлагал ее купить. — Повесь между деревьями, и она сама запоет. — Он поставил клетку на место, подумал немного, глядя на нее, и сказал: — Хорошо, я ее беру.

— Она уже продана, — заметила Урсула.

— Сыну дона Хосе Монтьеля, — объяснил Бальтасар. — Он ее заказывал.

Всем своим видом доктор выразил почтение.

— Он дал тебе образец?

— Нет, просто сказал, что ему нужна большая клетка, вот как эта, — в ней будут жить две иволги.

Врач снова посмотрел на клетку.

— Иволгам она не подходит.

— Подходит, доктор, — сказал Бальтасар. Его окружали дети. — Все размеры точно рассчитаны, — продолжал он, показывая пальцами на разные отделения клетки. Он ударил костяшками пальцев по куполу, и клетка торжественно запела. — Проволоки прочнее этой не найдешь, и каждое соединение спаяно изнутри и снаружи.

— Даже для попугая годится, — вставил кто-то из детей.

— Верно, — согласился Бальтасар.

Врач повернул к нему голову.

— Хорошо, но ведь образца он тебе не дал? И не описал определенно? Просто: «Большая клетка для иволги». Верно?

— Верно, — подтвердил Бальтасар.

— Значит, и раздумывать нечего, — сказал врач. — Одно дело большая клетка для иволги, и совсем другое дело — твоя клетка. Кто докажет, что это та самая клетка, которую тебе заказывали?

— Это она, — сказал сбитый с толку Бальтасар. — Потому я ее и сделал.

Врач досадливо нахмурился.

— Ты бы мог сделать и другую, — сказала Урсула, пристально глядя на Бальтасара, и потом повернулась к врачу. — Вам ведь не к спеху?

— Я обещал жене принести ее сегодня.

— Мне очень жаль, доктор, — сказал Бальтасар, — но нельзя продать вещь, которая уже продана.

Врач пожал плечами. Вытирая потную шею платком, он молча уставился на клетку. Не отрываясь он глядел в какую-то невидимую для других точку, как глядят на исчезающий вдали корабль.

— Сколько тебе за нее дали?

Бальтасар, не отвечая, отыскал взглядом Урсулу.

— Шестьдесят песо, — сказала она.

Врач все смотрел и смотрел на клетку.

— Очень хороша, — вздохнул он. — Удивительно хороша.

Доктор двинулся к двери, улыбаясь, энергично обмахиваясь платком, и тут же воспоминание об этом эпизоде начало навсегда стираться в его памяти.

— Монтель очень богат, — сказал он, выходя из комнаты.

На самом деле Хосе Монтель не был таким богачом, каким казался, но был готов на все, чтобы только им стать. Лишь за несколько кварталов отсюда, в доме, доверху набитом вещами, где никогда даже не пахло тем, чего нельзя было бы продать, он с полнейшим равнодушием слушал рассказы о новой клетке Бальтасара. Его супруга, терзаемая навязчивыми мыслями о смерти, закрыла после обеда все окна и двери и два часа неподвижно пролежала в полутьме с открытыми глазами, в то время как сам Хосе Монтель сладко дремал. Его разбудил шум голосов. Тогда он открыл дверь и увидел перед домом толпу, а в толпе — Бальтасара с клеткой, свежесбритого, во всем белом, и выражение лица у него было почтительно-наивное — то самое, какое бывает у бедняков, когда они приходят в дома богатых.

— Да это просто чудо какое-то! — с радостным изумлением воскликнула супруга Монтьеля, ведя Бальтасара за собой в дом. — Ничего похожего я в жизни не видела! — И, возмущенная бесцеремонностью толпы, вливавшейся вслед за Бальтасаром в дверь патио, добавила: — Нет, лучше несите внутрь, а то они превратят нам гостиную Бог знает во что.

Бальтасар бывал в этом доме и раньше — несколько раз, зная его мастерство и любовь к своему делу, его приглашали сюда для выполнения мелких столярных работ. Однако среди богатых ему было не по себе. Он часто думал о них, об их некрасивых и вздорных женах, об ужасающих болезнях и неслыханных хирургических операциях и всегда их жалел. Когда он входил в их дома, ноги плохо слушались его и каждый шаг стоил ему усилия.

— Пепе дома? — спросил Бальтасар, ставя клетку на стол.

— В школе еще, — ответила жена Монтьеля. — Скоро должен прийти. — И добавила: — Монтьель моется.

В действительности же Хосе Монтьель помыться не успел и сейчас торопливо обтирался камфарным спиртом, собираясь посмотреть, что происходит. Человек он был такой осторожный, что спал, не включая электрического вентилятора — тот помешал бы ему следить во сне за всеми шорохами дома.

— Аделаида! — крикнул он. — Что там такое?

— Иди посмотри, какая чудесная вещь! — закричала жена.

Хосе Монтьель, тучный, с волосатой грудью и накинутым на шею полотенцем, высунулся из окна спальни.

— Что это?

— Клетка для Пепе, — ответил Бальтасар.

Женщина посмотрела на него растерянно.

— Для кого?

— Для Пепе, — повторил Бальтасар. А потом повернулся к Хосе Монтьелю: — Пепе заказал ее мне.

Ничего не произошло, но Бальтасару почудилось, будто перед ним открыли дверь бани. Хосе Монтьель вышел в трусах из спальни.

— Пепе! — закричал он.

— Он еще не пришел, — сказала жена вполголоса, не двигаясь с места.

В дверном проеме появился Пепе. Это был двенадцатилетний мальчик с теми же, что и у матери, загнутыми ресницами и с таким же, как у нее, выражением тихого страдания на лице.

— Иди сюда, — позвал его Хосе Монтьель. — Ты заказывал это?

Мальчик опустил голову. Схватив Пепе за волосы, Монтьель заставил мальчика посмотреть ему в глаза.

— Отвечай.

Тот молча кусал губы.

— Монтьель... — прошептала жена.

Хосе Монтьель разжал руку и резко повернулся к Бальтасару.

— Жаль, что так получилось, Бальтасар, — сказал он. — Прежде чем приступить к делу, надо было поговорить со мной. Только тебе могло прийти в голову условиться с ребенком.

Лицо его вновь обрело утраченное было выражение покоя. Даже не взглянув на клетку, он поднял ее со стола и протянул Бальтасару.

— Сейчас же унеси и продай кому-нибудь, если сумеешь. И очень тебя прошу, не спорь со мной. — А потом, хлопнув Бальтасара по спине, объяснил: — Мне доктор запретил волноваться.

Мальчик стоял словно окаменев. Но вот Бальтасар с клеткой в руке растерянно посмотрел на него, и тот, издав горлом какое-то хриплое рычание, похожее на собачье, бросился на пол и зашелся криком.

Хосе Монтьель безучастно смотрел, как мать его успокаивает.

— Не поднимай его, — сказал он. — Пусть разобьет себе голову об пол. А потом подсыпь соли с лимоном, чтоб веселей было беситься.

Мальчик визжал без слез; мать держала его за руки.

— Оставь его, — снова сказал Монтьель.

Бальтасар смотрел на мальчика, как смотрел бы на заразного зверя в агонии. Было уже почти четы-

ре. В этот час у него в доме Урсула, нарезая лук, поет старую-престарую песню.

— Пепе, — сказал Бальтасар.

Он шагнул к мальчику и, улыбаясь, протянул ему клетку. Мальчик вмиг оказался на ногах, обхватил ее, по высоте почти такую же, как и он сам, обеими руками и, не зная, что сказать, уставился сквозь металлическое плетение на Бальтасара. За все это время он не пролил ни одной слезинки.

— Бальтасар, — мягко вмешался Хосе Монтьель, — я ведь сказал тебе — сейчас же унеси клетку.

— Отдай ее, — сказала женщина сыну.

— Оставь ее себе, — сказал Бальтасар. А потом, обращаясь к Хосе Монтьелю, добавил: — В конце концов, для этого я ее и сделал.

Хосе Монтьель шел за ним до самой гостиной.

— Не валяй дурака, Бальтасар, — настаивал он, загораживая ему дорогу. — Забирай свою штукювину и не делай больше глупостей. Все равно не заплачу ни сентаво.

— Неважно, — сказал Бальтасар. — Я сделал ее Пепе в подарок. Я и не думал ничего за нее получить.

Пока Бальтасар пробивался сквозь толпу любопытных, которые толкались в дверях, Хосе Монтьель, стоя посреди гостиной, кричал ему вслед. Он был бледен, и его глаза наливались кровью.

— Дурак! — кричал он. — Забирай сейчас же свое барахло! Не хватало еще, чтобы в моем доме кто-то распоряжался, дьявол тебя подери!

В бильярдной Бальтасара встретили восторженными криками. До сих пор он думал, что просто сделал клетку лучше прежних своих клеток и должен был подарить ее сыну Хосе Монтьеля, чтобы тот не плакал, и что во всем этом нет ничего особенного. Но теперь он понял, что многим судьба его клетки почему-то безразлична, и взволновался.

— Значит, тебе дали за нее пятьдесят песо?

— Шестьдесят, — ответил Бальтасар.

— Стоит сделать зарубку в небесах, — сказал кто-то. — Ты первый, кому удалось выбить столь-

ко денег из дона Хосе Монтьеля. Такое надо отпраздновать.

Ему поднесли кружку пива, и он ответил тем, что заказал на всех присутствующих. Так как пил он впервые в жизни, то к вечеру был уже совсем пьян и стал рассказывать о своем фантастическом плане — тысяча клеток по шестьдесят песо за штуку, а потом миллион клеток, чтобы вышло шестьдесят миллионов песо.

— Надо наделать их побольше, чтобы успеть продать богатым, пока те живы, — говорил он, уже ничего не соображая. — Все они больные и скоро помрут. Какая же горькая у них жизнь, если им даже волноваться нельзя!

Два часа без перерыва музыкальный автомат проигрывал за его счет пластинки. Все пили за здоровье Бальтасара, за его счастье и удачу и за смерть богачей, но в час ужина он остался один.

Урсула ждала его до восьми вечера с блюдом жареного мяса, посыпанного колечками лука. Кто-то сказал ей, что Бальтасар в бильярдной, что он одурел от успеха и угощает всех пивом, но она не поверила, потому что Бальтасар еще ни разу в жизни не пил. Когда она легла, уже около полуночи, Бальтасар все еще сидел в ярко освещенном заведении, где были столики с четырьмя стульями вокруг каждого и рядом, под открытым небом, площадка для танцев, по которой сейчас разгуливали выпившие. Лицо его было в пятнах губной помады, и, не в силах сдвинуться с места, он думал, что хорошо бы лечь в одну постель с двумя женщинами сразу. Расплатиться с хозяином ему было нечем, и он оставил в залог часы, пообещав уплатить все на другой день. Позже, лежа посреди улицы, он почувствовал, что с него снимают ботинки, но ради них не хотелось расставаться с самым прекрасным сном в его жизни. Женщины, спешившие к утренней мессе, боялись на него смотреть: они думали, что он мертв.

ВДОВА МОНТЬЕЛЬ

Когда дон Хосе Монтъель умер, все, кроме его вдовы, почувствовали себя отомщенными; но потребовался не один час, чтобы люди поверили, что он умер на самом деле. И даже после того, как в душной, жаркой комнате, в закругленном и желтом, похожем на большую дыню гробу увидели на подушках и льняных простынях тело Монтъеля, многие все равно продолжали сомневаться в его смерти. Он был чисто выбрит, в белом костюме, обут в лакированные туфли, и, глядя на него, можно было подумать, что он сейчас живет, чем когда-либо прежде. Это был тот же дон Хосе Монтъель, который по воскресеньям слушал в восемь часов мессу, только вместо стека в руках у него теперь было распятие. И только тогда, когда привинтили крышку гроба и поместили его в роскошной семейной усыпальнице, весь городок поверил наконец, что дон Хосе Монтъель не притворяется мертвым.

После погребения все, кроме вдовы, продолжали удивляться только тому, что умер Хосе Монтъель естественной смертью. Люди были убеждены, что он погибнет от пуль, выпущенных ему в спину из засады, однако жена всегда была уверена, что он, исповедавшись, тихо умрет от старости в своей постели, словно какой-нибудь современный святой. Ошиблась она разве что в деталях. Хосе Монтъель умер в гамаке в среду, в два часа пополудни, и причиной смерти явилась вспышка гнева, ему строго противопоказанного. Но супруга ожидала также, что на похороны придет весь городок и в доме не хватит места для цветов. На самом же деле пришли только члены одной с ним партии и церковные конгрегации, а венки были только от муниципалитета. Его сын, со своего поста консула в Германии, и две дочери, живущие в Париже, прислали телеграммы по три страницы каждая. Чувствовалось, что писали их на почте, стоя, обычными чернилами и изорвали множество бланков, прежде

чем сумели набрать слов на двадцать долларов. Приехать не обещал никто. Ночью после похорон, рыдая в подушку, на которой еще недавно покоилась голова человека, сделавшего ее счастливой, шестидесятидвухлетняя вдова Монтель впервые узнала, что такое отчаянье. «Закроюсь в комнате навсегда, — думала она. — Меня и так уже как будто положили в один гроб с Хосе Монтелем. Не хочу больше знать ничего об этом мире». И в мыслях своих она была искренна.

Эта хрупкая женщина с душой, зараженной суевериями, в двадцать лет вышедшая по воле родителей замуж за единственного претендента, которого подпустили к ней ближе, чем на десять метров, до этого никогда не вступала в прямое соприкосновение с действительностью. Через три дня после того, как из дома вынесли тело ее мужа, она, хотя и плакала не переставая, поняла, что нужно что-то делать; однако решить, по какому пути пойдет теперь ее жизнь, она не могла. Все нужно было начинать сначала.

Среди бесчисленных тайн, которые Хосе Монтель унес с собой в могилу, оказалась и комбинация цифр, открывавшая его сейф. Решением этой проблемы занялся алькальд. Он распорядился вынести сейф в патио и поставить у стены, и двое полицейских, приставляя дула винтовок к замку, начали в него стрелять. Все утро в спальню вдовы доносились, чередуясь с громкими приказами алькальда, глухие выстрелы. «Только этого мне не хватало, — думала она, — пять лет молить Бога, чтобы стрельба прекратилась, а сейчас благодарить Его за то, что стреляют у меня в доме». В тот же день, попытавшись сосредоточиться, она стала звать смерть, но ответа не услышала. Вдова уже начала засыпать, когда дом сотрясся от взрыва: чтобы вскрыть сейф, пришлось использовать динамит.

Вдова Монтель вздохнула. Казалось, что октябрь с его дождями и слякотью не будет конца, и она, плавающая без руля и без ветрил по сказочному, пришедшему теперь в упадок имению Хосе Монтеля, чувствовала себя потерянной. Управление

имуществом взял на себя сеньор Кармайкл, дряхлый и добросовестный слуга семьи. Когда наконец вдова Монтьель набралась мужества и взглянула в лицо факту, что ее муж мертв, она вышла из спальни и занялась домом. Она убрала прочь все, что веселило глаз, надела темные чехлы на мебель и украсила висевшие на стенах портреты умершего траурными бантами. За два месяца, истекшие со дня похорон, у нее появилась привычка грызть ногти. Однажды (глаза у нее теперь были все время красные и опухшие) вдова увидела, что сеньор Кармайкл, входя в дом, не закрыл зонта.

— Закройте свой зонтик, сеньор Кармайкл,— сказала она. — После всех бед, которые на нас свалились, нам еще только не хватало, чтобы вы заходили в дом с открытым зонтиком.

Сеньор Кармайкл, не закрывая, поставил зонт в угол. Он был старый негр, его черная кожа лоснилась, на нем был белый костюм, а в туфлях, чтобы они не давили на мозоли, были прорезаны ножом дырочки.

— Так скорее высохнет.

Впервые со дня смерти мужа вдова открыла окно.

— Столько бед, и ко всему еще эта зима, — прошептала она, кусая ногти. — Похоже, что дождь никогда не кончится.

— Во всяком случае, не сегодня и не завтра, — сказал управляющий. — Прошлой ночью мозоли так и не дали мне заснуть.

Вдова Монтьель не сомневалась в способности мозолей сеньора Кармайкла предсказывать атмосферные явления. Она окинула взглядом безлюдную и небольшую городскую площадь, безмолвные дома, чьи обитатели так и не открыли дверей, чтобы посмотреть на похороны Хосе Монтьеля, и почувствовала, что ногти, необозримые земли и унаследованные от мужа бессчетные обязательства, в которых ей никогда не разобраться, довели ее до последней грани отчаянья.

— Как уродлив мир! — прорыдала она.

Тем, кто навещал вдову в эти дни, она давала много оснований думать, что потеряла рассудок. На самом же деле таким ясным, как теперь, разум

ее не был еще никогда. Новые массовые убийства по политическим мотивам еще не начались. А она уже стала проводить пасмурные октябрьские утра, сидя у окна своей комнаты, жалея мертвых и думая, что, не пожелай Бог отдохнуть в день седьмой, у Него было бы время для того, чтобы сделать мир более совершенным.

— Ему надо было воспользоваться тем днем, тогда бы в мире не было столькох недоделок, — говорила она. — В конце концов для отдыха у Него оставалась вечность.

Для нее со смертью мужа не изменилось ничего, за одним-единственным исключением: прежде, при его жизни, для мрачных мыслей у нее была причина.

В то время как вдова Монтъель чахла, снедаемая отчаяньем, сеньор Кармайкл пытался предотвратить катастрофу. Дела шли из рук вон плохо. Освободившийся теперь от страха перед Хосе Монтъелем, путем террора захватившим в округе монополию на всю торговлю, городок мстил. В ожидании покупателей, которые так и не появлялись, прокисало в огромных кувшинах, нагроможденных в патио, молоко, бродил в бурдюках мед и тучнели черви, обжираясь сыром на темных полках кладовой. Хосе Монтъель, в своей усыпальнице с электрическим освещением и архангелами под мрамор, теперь получал сполна за шесть лет убийств и произвола. Никому за всю историю страны не доводилось так разбогатеть в столь короткое время. Когда в городок приехал первый алькальд, назначенный диктатурой, Хосе Монтъель был осмотрительным сторонником всех режимов, сменявшихся до этого, и половину жизни он проводил, сидя в трусах у дверей своей крупорушки. Одно время его даже считали человеком, во-первых, везучим, а во-вторых, благочестивым, потому что он обещал во всеуслышание, если выиграет в лотерею, пожертвовать церкви большую, в человеческий рост, статую святого Иосифа, своего тезки, и две недели спустя, получив шестикратный выигрыш, выполнил свое обещание. Обутым его впервые увидели в день, когда прибыл новый алькальд, сержант полиции, нелюдимый левша, полу-

чивший приказ ликвидировать окончательно оппозицию. Хосе Монтель начал с того, что стал его тайным осведомителем. Этот скромный коммерсант, спокойный толстяк, не вызывавший в людях ни малейших подозрений, подходил к своим политическим противникам по-разному, в зависимости от того, богатые они были или бедные. Бедных полиция расстреливала на площади. Богатым давали двадцать четыре часа на то, чтобы они покинули городок. Планируя бойню, Хосе Монтель проводил целые дни, запершись с алькальдом в своем невыносимо душном кабинете, а его супруга в это время оплакивала мертвых. Когда алькальд выходил из кабинета, она преграждала мужу путь. «Это не человек, а зверь, — говорила она. — Используй свои связи в правительстве, добейся, чтобы эту бестию перевели от нас в другое место, — ведь он не оставит в городке живых ни одного человека». И Хосе Монтель, у которого в те дни дел и так было выше головы, отстранял ее, даже не взглянув, и говорил: «Перестань идиотничать». На самом деле заинтересован он был не столько в смерти бедняков, сколько в изгнании богачей. Этим последним алькальд дырявил пулями двери и назначал срок, в течение которого им надлежит уехать из городка, и тогда Хосе Монтель скупал у них скот и землю по цене, которую он же сам и назначал. «Не будь простофилей, — говорила ему жена. — Ты разоришься, им помогая, и, хотя только тебе они будут обязаны тем, что не умерли на чужбине от голода, благодарности от них все равно ты никогда не дождешься». И Хосе Монтель, у которого теперь не оставалось времени даже на то, чтобы улыбнуться ее наивности, отстранял жену и говорил: «Иди к себе в кухню и не приставай ко мне больше».

Так меньше чем за год была ликвидирована оппозиция, и Хосе Монтель стал самым богатым и могущественным в городке человеком. Он отправил дочерей в Париж, выхлопотал для сына должность консула в Германии и занялся окончательным упрочением своей власти. Но плодами преступившего все пределы и законы богатства наслаждаться ему пришлось меньше шести лет. После того как испол-

нилась первая годовщина его смерти, вдова, слыша скрип лестницы, твердо знала, что скрипит та под тяжестью очередной дурной вести. Приносили их всегда под вечер. «Опять разбойники,— говорили вдове.— Вчера утнали пятьдесят голов молодняка». Кусая ногти, вдова сидела неподвижно в качалке и ничего не ела — пищей ей служило отчаянье. «Я предупреждала тебя, Хосе Монтель,— повторяла она, обращаясь к покойному, — от жителей этого городка благодарности не дождешься. Ты еще не успел остыть в своей могиле, а уже все от нас от-вернулись».

В дом никто больше не приходил. Единственным человеком, которого она видела за эти бесконечные месяцы дождя, что лил и лил не переставая, был добросовестный и неутомимый сеньор Кармайкл, всегда заходивший в дом с раскрытым зонтиком. Дела не поправлялись. Сеньор Кармайкл уже написал несколько писем сыну Хосе Монтелья. В них он намекал, что было бы как нельзя более ко времени, если бы тот приехал и взял ведение дел в свои руки; сеньор Кармайкл позволил себе даже выразить некоторое беспокойство по поводу здоровья его матери. Но ответы на эти письма были уклончивы. В конце концов сын Хосе Монтелья откровенно признался: не возвращается он из страха, что его могут убить. Тогда сеньор Кармайкл был вынужден сообщить вдове, что она на грани полного разорения.

— Не совсем так, — возразила она. — Сыра и мух мне девать некуда. И вы берите себе все, что вам может пригодиться, а мне дайте умереть спокойно.

После этого разговора ничто больше не связывало ее с внешним миром, кроме писем, которые она отправляла дочерям в конце каждого месяца. «На этом городке лежит проклятие, — убежденно писала им она. — Не возвращайтесь сюда никогда, а обо мне не беспокойтесь: чтобы быть счастливой, мне достаточно знать, что вы счастливы». Дочери отвечали ей по очереди. Их письма были всегда веселые, и чувствовалось, что писали их в теплых и светлых помещениях и что каждая из девушек,

когда, задумавшись о чем-нибудь, останавливается, видит себя отраженной во многих зеркалах. Дочери тоже не хотели возвращаться. «Здесь цивилизация, — писали они. — А там, у вас, условия для жизни неблагоприятные. Невозможно жить в дикой стране, где людей убивают из-за политики». На душе у вдовы, когда она читала эти письма, становилось легче, и после каждой фразы она одобрительно кивала головой.

Как-то раз дочери написали ей о мясных лавках Парижа. Они рассказывали о том, как режут розовых свиней и вешают туши у входа в лавку, украсив их венками и гирляндами из цветов. В конце почерком, не похожим на почерк дочерей, было приписано: «И представь себе, самую большую и красивую гвоздику свинье засовывают в зад». Прочитав эту фразу, вдова Монтель улыбнулась, впервые за два года. Не гася в доме свет, она поднялась к себе в спальню и, прежде чем лечь, повернула электрический вентилятор к стене. Потом, достав из тумбочки около кровати ножницы, рулончик липкого пластыря и четки, она заклеила себе воспалившийся от обкусыванья большой палец на правой руке. После этого она начала молиться, но уже на второй молитве переложила четки в левую руку: через пластырь зерна плохо прощупывались. Откуда-то издалека донеслись раскаты грома. Вдова заснула, уронив голову на грудь. Рука, которая держала четки, сползла по бедру вниз, и тогда она увидела сидящую в патио Великую Маму; на коленях у нее была расстелена белая простыня и лежал гребень — она давила вшей ногтями больших пальцев. Вдова Монтель спросила ее:

— Когда я умру?

Великая Мама подняла голову.

— Когда у тебя начнет неметь рука.

ИСКУССТВЕННЫЕ РОЗЫ

В предрассветных сумерках Мина нашла на ощупь платье без рукавов, которое повесила вечером около кровати, надела его и перевернула весь сундук, разыскивая фальшивые рукава. Не найдя, она стала искать их на гвоздях, вбитых в стены и в двери, стараясь при этом не разбудить слепую бабу, спавшую в той же комнате. Но когда глаза Мины привыкли к темноте, она обнаружила, что бабки на постели нет, и пошла в кухню — спросить ее про рукава.

— Они в ванной, — ответила слепая. — Вчера вечером я их выстирала.

Там они и висели на проволоке, закрепленные двумя деревянными зажимками. Рукава еще не высохли. Мина сняла их, вернулась с ними в кухню и растелила их на краю печки. Возле нее слепая помещивала кофе в котелке, уставившись мертвыми зрачками на кирпичный карниз вдоль стены коридора, который вел в патио; на карнизе стояли в ряд цветочные горшки с целебными травами.

— Не трогай больше мои вещи, — сказала Мина. — Рассчитывать на солнце сейчас не приходится.

— Совсем забыла, ведь сегодня страстная пятница.

Втянув носом воздух и убедившись, что кофе уже готов, слепая сняла котелок с огня.

— Подстели под рукава бумагу, камни грязные, — посоветовала она.

Мина провела по камням пальцем. Они и вправду были грязные, но сажа, покрывавшая их, затвердела и испачкала бы рукава только в том случае, если бы камни ими потерли.

— Если испачкаются, ты будешь виновата, — сказала Мина.

Слепая уже налила себе чашку кофе.

— Ты злишься, — ответила она, волоча в коридор стул. — Грех причащаться, когда злишься.

Она села с чашкой в конце коридора возле роз в патио. Когда в третий раз прозвонили к мессе, Ми-

на сняла рукава с печки. Они были еще влажные, но все равно она их надела. С голыми руками отец Анхель отказался бы ее причащать. Она не умылась, только стерла с лица мокрым полотенцем остатки вчерашних румян, потом зашла в комнату за мантильей и молитвенником и вышла на улицу. Через четверть часа она вернулась.

— Попадешь в церковь, когда уже кончат читать Евангелие, — сказала слепая; она все еще сидела около роз.

— Не могу я туда идти, — направляясь в уборную, сказала Мина. — Рукава сырые, и платье неглаженое.

У нее было ощущение, будто на нее неотступно смотрит всевидящее око.

— Сегодня страстная пятница, а ты не идешь к мессе.

Вернувшись из уборной, Мина налила себе чашку кофе и села около слепой, прислонившись к побеленному косяку. Но пить она не смогла.

— Это ты виновата, — прошептала она с глухим ожесточением, чувствуя, что ее душат слезы.

— Да ты плачешь! — воскликнула слепая.

Она поставила лейку, которую держала в руке, у горшков с майораном и вышла в патио, повторяя:

— Ты плачешь! Ты плачешь!

Мина поставила чашку на пол, потом ей кое-как удалось собой овладеть.

— Я плачу от злости. — И, проходя мимо бабушки, добавила: — Тебе придется исповедаться, ведь это из-за тебя я не причастилась в страстную пятницу.

Слепая, не двигаясь, ждала, чтобы Мина закрыла за собой дверь спальни; потом пошла в конец коридора, наклонилась, вытянув вперед пальцы, пошарила и наконец нашла не пригубленную даже чашку Миной. Выливая кофе в помойное ведро, она сказала:

— Бог свидетель, у меня совесть чистая.

Из спальни вышла мать Миной.

— С кем ты разговариваешь? — спросила она.

— Ни с кем, — ответила слепая. — Я ведь уже говорила тебе, что теряю разум.

Запершись в комнате, Мина расстегнула ворот на платье и вынула три надетых на английскую булавку маленьких ключика. Одним из них она открыла нижний ящик комода и, достав оттуда небольшой деревянный ларец, отперла его другим ключом. Внутри лежала пачка писем на цветной бумаге, стянутая резинкой. Она спрятала их на груди, поставила ларчик на место и снова заперла ящик. Потом она пошла в уборную и бросила письма в яму.

— Ты собиралась к мессе, — сказала ей мать.

— Она не могла пойти, — вмешалась в разговор слепая. — Я забыла, что сегодня страстная пятница, и вчера вечером выстирала рукава.

— Они еще не высохли, — пробормотала Мина.

— Ей пришлось много работать эти дни, — продолжала слепая.

— Мне нужно сдать на Пасху сто пятьдесят дюжин роз, — сказала Мина.

Хотя было рано, солнце уже начало припекать. К семи утра большая комната превратилась в мастерскую по изготовлению искусственных роз: появились корзина с лепестками и проволокой, большая коробка гофрированной бумаги, две пары ножниц, моток ниток и пузырек клея. Почти сразу же пришла Тринидад с картонной коробкой под мышкой и спросила, почему Мина не ходила к мессе.

— У меня не было рукавов, — ответила Мина.

— Да тебе бы кто хочешь их одолжил, — сказала Тринидад.

Она пододвинула стул и села около корзины с лепестками.

— Пока сообразила, было уже поздно, — сказала Мина.

Она сделала розу, потом подошла к корзине закрутить ножницами лепестки. Тринидад поставила картонную коробку на пол и принялась за работу.

Мина посмотрела на коробку.

— Купила туфли?

— В ней дохлые мыши, — ответила Тринидад.

Тринидад закручивала лепестки лучше, и Мина стала обертывать куски проволоки зеленой бума-

гой — делать стебли. Они работали молча, не обращая внимания на солнце, наступавшее на комнату, где по стенам висели идиллические картины и семейные фотографии. Кончив делать стебли. Мина повернула к Тринидад свое лицо, казавшееся каким-то отрешенным. Движения у Тринидад, едва шевелившей кончиками пальцев, были удивительно точные; сидела она сомкнув ноги. Мина посмотрела на ее мужские туфли. Не поднимая головы, Тринидад почувствовала ее взгляд, отодвинула ноги дальше под стул и перестала работать.

— Что такое? — спросила она.

Мина наклонилась к ней совсем близко.

— Он уехал.

Ножницы из рук Тринидад упали к ней на колени.

— Не может быть!

— Да, уехал, — повторила Мина.

Тринидад не мигая на нее уставилась. Между ее сдвинутыми бровями пролегла вертикальная морщина.

— И что теперь?

Голос Мины прозвучал ровно и твердо:

— Теперь? Ничего.

Около десяти Тринидад стала с ней прощаться. Мина к тому времени уже отвела душу и теперь остановила ее, напоминая, что надо бросить дохлых мышей в уборную.

Слепая подрезала розовый куст.

— Ни за что не догадаешься, что у меня здесь в коробке, — сказала, проходя мимо нее, Мина.

Она потрясла коробку. Слепая прислушалась.

— Тряхни еще раз.

Мина тряхнула во второй раз, но даже после третьего, когда слепая слушала, оттянув указательным пальцем мочку уха, она так и не смогла сказать, что в коробке.

— Это мыши, которые за ночь попались в мышеловки в церкви, — сказала Мина.

На обратном пути она прошла мимо слепой молча. Однако слепая двинулась за ней следом. Когда бабка вошла в большую комнату, Мина, сидя у закрытого окна, заканчивала розу.

— Мина, — сказала слепая, — если хочешь быть счастливой, никогда не поверяй свои тайны чужим людям.

Мина на нее посмотрела. Слепая села напротив и хотела тоже начать работать, но Мина ей не позволила.

— Нервничаешь, — заметила слепая.

— По твоей вине.

— Почему ты не пошла к мессе?

— Сама знаешь, почему.

— Будь это вправду из-за рукавов, ты бы и из дому не вышла. Ты пошла, потому что тебя кто-то ждал, и он сказал что-то для тебя неприятное.

Мина, словно смахивая пыль с невидимого стекла, провела руками перед глазами слепой.

— Ты ясновидица, — сказала она.

— Сегодня утром ты была в уборной два раза, — напомнила ей слепая. — А ведь больше одного раза ты не ходишь по утрам никогда.

Мина продолжала работать.

— Можешь ты показать мне, что у тебя в нижнем ящике шкафа? — спросила слепая.

Мина не спеша воткнула розу в оконную раму, достала из-за корсажа три ключика, положила в руку слепой и сама сжала ей пальцы в кулак.

— Посмотри собственными глазами, — сказала она.

Кончиками пальцев слепая ощупала ключи.

— Моим глазам не увидеть того, что лежит на дне выгребной ямы.

Мина подняла голову, и ей вдруг показалось, что слепая чувствует ее взгляд.

— А ты полезай туда, если тебя так интересуют мои вещи.

Однако слепая пропустила колкость мимо ушей.

— Каждый день ты пишешь в постели до зари, — сказала бабка.

— Но ведь ты сама гасишь свет.

— И сразу ты зажигаешь карманный фонарик. А потом, слушая твое дыхание, я могу даже сказать, о чем ты пишешь.

Мина сделала над собой усилие, чтобы не вспылить.

— Хорошо, — сказала она, не поднимая головы, — допустим, что это правда — что здесь такого?

— Ничего, — ответила слепая. — Только то, что из-за этого ты не причастилась в страстную пятницу.

Мина сгребла нитки, ножницы и недоконченные цветы в одну кучу, сложила все в корзину и повернулась к слепой.

— Так ты хочешь, чтобы я сказала тебе, зачем ходила в уборную? — спросила она.

Наступило напряженное молчание, и наконец Мина сказала:

— Какать.

Слепая бросила ей в корзину ключи.

— Могло бы сойти за правду, — пробормотала она, направляясь в кухню. — Да, можно было бы поверить, если бы хоть раз до этого я слышала от тебя вульгарность.

Навстречу бабке, с противоположного конца коридора, шла мать Мины с большой охапкой усеянных колючками веток.

— Что произошло? — спросила она.

— Да просто я потеряла разум, — ответила слепая. — Но, видно, пока я не начну бросаться камнями, в богадельню меня все равно не отправят.

САМЫЙ КРАСИВЫЙ УТОПЛЕННИК В МИРЕ

Первые из детей, увидевшие, как по морю приближается к берегу что-то темное и непонятное, вообразили, что это вражеский корабль. Потом, не видя ни мачт, ни флагов, подумали, что это кит. Но когда неизвестный предмет выбросило на песок и они очистили его от опутывающих водорослей, от щупалец медуз, от рыбьей чешуи и от обломков кораблекрушений, которые он на себе нес, вот тогда они поняли, что это утопленник.

Они играли с ним уже целый день, закапывая его в песок и откапывая снова, когда кто-то из взрослых случайно их увидел и всполошил все селение. Мужчины, которые отнесли утопленника в ближайший дом, заметили, что он тяжелее, чем все мертвецы, которых они видели, почти такой же тяжелый, как лошадь, и подумали, что, быть может, море носило его слишком долго и кости напитались водой. Когда его опустили на пол, то увидели, что он гораздо больше любого из них, больше настолько, что едва поместился в доме, но подумали, что, быть может, некоторым утопленникам свойственно продолжать расти и после смерти. От него исходил запах моря, и из-за того, что тело облекал панцирь из ракушек и тины, лишь очертания позволили предположить, что это труп человека.

Достаточно оказалось очистить ему лицо, чтобы увидеть: он не из их селения. В селении у них было от силы два десятка сколоченных из досок лачуг, около каждой дворик — голые камни, на которых не росло ни цветка, — и рассыпаны эти домишки были на оконечности пустынного мыса. Оттого что земли было очень мало, матерей ни на миг не оставлял страх, что ветер может унести их детей; и тех немногих мертвых, которых приносили годы, приходилось сбрасывать с прибрежных крутых скал. Но море было спокойное и щедрое, а все мужчины селения вмещались в семь лодок, так что, когда находили утопленника, любому доста-

точно было посмотреть на остальных, и он сразу знал, все ли тут.

В этот вечер в море не вышел никто. Пока мужчины выясняли, не ищут ли кого в соседних селениях, женщины взяли на себя заботу об утопленнике. Пучками испанского дрока они стерли тину, выбрали из волос остатки водорослей и скребками, которыми очищают рыбу от чешуи, содрали с него ракушки. Делая это, они заметили, что морские растения на нем из дальних океанов и глубоких вод, а его одежда разорвана в клочья, словно он плыл через лабиринты кораллов. Они заметили также, что смерть он переносит с гордым достоинством — на лице его не было выражения одиночества, свойственного утонувшим в море, но не было в нем и отталкивающего выражения муки, написанного на лицах тех, кто утонул в реке. Но только когда очистили его совсем, они поняли, какой он был, и от этого у них перехватило дыхание. Он был самый высокий, самый сильный, самого лучшего сложения и самый мужественный человек, какого они видели за свою жизнь, и даже теперь, уже мертвый, когда они впервые на него смотрели, он не укладывался в их воображении.

Для него не нашлось в селении ни кровати, на которой бы он уместился, ни стола, который мог бы его выдержать. Ему не подходили ни праздничные штаны самых высоких мужчин селения, ни воскресные рубашки самых тучных, ни башмаки того, кто прочнее других стоял на земле. Зачарованные его красотой и непомерной величиной, женщины, чтобы он мог пребывать в смерти с подобающим видом, решили сшить ему штаны из большого куска косога паруса, а рубашку — из голландского полотна, из которого шьют рубашки невестам. Женщины шили, усевшись в кружок, поглядывая после каждого стежка на мертвое тело, и им казалось, что еще никогда ветер не дул так упорно и никогда еще Карибское море не волновалось так, как в эту ночь; и у них было чувство, что все это как-то связано с мертвым. Они думали, что, если бы этот великолепный мужчина жил у них в селении, двери у него в доме были бы самые ши-

рокие, потолок самый высокий, пол самый прочный, рама кровати была бы из больших шпангоутов на железных болтах, а его жена была бы самая счастливая. Они думали, власть, которой бы он обладал, была бы так велика, что, позови он любую рыбу, она тут же прыгнула бы к нему из моря, и в работу он вкладывал бы столько старанья, что из безводных камней двориков забили бы родники и он сумел бы засеять цветами прибрежные крутые скалы. Втайне женщины сравнивали его со своими мужьями и думали, что тем за всю жизнь не сделать того, что он смог бы сделать за одну ночь, и кончили тем, что в душе отреклись от своих мужей как от самых ничтожных и жалких существ на свете. Так они блуждали по лабиринтам своей фантазии, когда самая старая из них, которая, будучи самой старой, смотрела на утопленника не столько с чувством, сколько с сочувствием, сказала, вздохнув:

— По его лицу видно, что его зовут Эстебан.

Это была правда. Большинству оказалось достаточно взглянуть на него снова, чтобы понять: другого имени у него быть не может. Самые упрямые из женщин, которые были также и самые молодые, вообразили, что, если одеть мертвого, обувь в лакированные туфли и положить среди цветов, вид у него станет такой, как будто его зовут Лаутаро. Но это было лишь их воображение. Полотна не хватило, плохо скроенные и еще хуже сшитые штаны оказались ему узки, а от рубашки, повинувшись таинственной силе, исходившей из его груди, снова и снова отлетали пуговицы. После полуночи завывание ветра стало тоньше, а море впало в сонное оцепенение наступившего дня среды. Тишина положила конец последним сомнениям: бесспорно, он Эстебан. Женщины, которые одевали его, причесывали, брили его и стригли ему ногти, не могли подавить в себе чувства жалости, как только убедились, что ему придется лежать на полу. Именно тогда они поняли, какое это, должно быть, несчастье, когда твое тело настолько велико, что мешает тебе даже после смерти. Они представили себе, как при жизни он был обречен входить в дверь боком,

больно стукаться головой о притолоку, в гостях стоять, не зная, что делать со своими нежными и розовыми, как лапы морской коровы, руками, а в то время как хозяйка дома ищет самый прочный стул и, мертвая от страха, садитесь сюда, Эстебан, будьте так лобезны, а он, прислонившись к стене, улыбаясь, не беспокойтесь, сеньора, мне удобно, а с пяток будто содрали кожу, и по спине жар от бесконечных повторений каждый раз, когда он в гостях, не беспокойтесь, сеньора, мне удобно, только бы избежать срама, когда под тобой ломается стул; так никогда, быть может, и не узнал, что те, кто говорили, не уходи, Эстебан, подожди хоть кофе, потом шептали, наконец-то ушел, глупый верзила, как хорошо, наконец-то ушел, красивый дурак. Вот что думали женщины, глядя на мертвое тело незадолго до рассвета. Позднее, когда, чтобы его не тревожил свет, ему накрыли лицо платком, они увидели его таким мертвым навсегда, таким беззащитным, таким похожим на их мужей, что сердца у них открылись и дали выход слезам. Первой зарыдала одна из самых молодых. Остальные, словно заражая друг друга, тоже перешли от вздохов к плачу, и чем больше рыдали они, тем больше плакать им хотелось, потому что все явственней утопленник становился для них Эстебаном; и наконец от обилия их слез он стал самым беспомощным человеком на свете, самым кротким и самым услужливым, бедняжка Эстебан. И потому, когда мужчины вернулись и принесли весть о том, что и в соседних селениях утопленника не знают, женщины почувствовали, как в их слезах проглянула радость.

— Благодарение Господу,— облегченно вздохнули они,— он наш!

Мужчины решили, что все эти слезы и вздохи лишь женское ломанье. Уставшие от ночных мучительных выяснений, они хотели только одного: прежде чем их остановит яростное солнце этого безветренного, иссушенного дня, раз и навсегда избавиться от нежеланного гостя. Из обломков бизаней и фок-мачт, скрепив их, чтобы выдержали вес тела, пока его будут нести к обрыву, зельгоф-

тами, они соорудили носилки. Чтобы дурные течения не вынесли его, как это не раз бывало с другими телами, снова на берег, они решили привязать к его щиколоткам якорь торгового корабля — тогда утопленник легко опустится в самые глубины моря, туда, где рыбы слепы, а водолазы умирают от одиночества. Но чем больше спешили мужчины, тем больше поводов затянуть время находили женщины. Они носились, как перепуганные куры, хватали из ларцов морские амулеты, и одни хотели надеть на утопленника ладанки попутного ветра и мешали здесь, а другие надевали ему на руку браслет верного курса и мешали тут, и под конец уже: убирайся отсюда, женщина, не мешай, не видишь разве — из-за тебя я чуть не упал на покойника, в душе у мужчин зашевелились подозрения, и они начали ворчать, к чему это, столько побрякушек с большого алтаря для какого-то чужака, ведь, сколько ни будь на нем золоченых и других побрякушек, все равно акулы его сжуют, но женщины по-прежнему продолжали рыться в своих дешевых реликвиях, приносили их и уносили, налетали друг на друга; между тем из их вздохов становилось ясно то, чего не объясняли прямо их слезы, и наконец терпение мужчин лопнуло, с какой стати столько возни из-за мертвеца, выкинутого морем, неизвестного утопленника, груды холодного мяса. Одна из женщин, уязвленная таким безразличием, сняла с лица утопленника платок, и тогда дыхание перехватило и у мужчин.

Да, это, конечно, был Эстебан. Не надо было повторять еще раз, чтобы все это поняли. Если бы перед ними оказался сэр Уолтер Рэли, то на них, быть может, и произвели бы впечатление его акцент гринго, попугай-гаукамайо у него на плече, аркебуза, чтобы убивать каннибалов, но другого такого, как Эстебан, на свете больше быть не может, и вот он лежит перед ними, вытянувшись, как рыба сабало, разутый, в штанах недоношенного ребенка и с твердыми как камень ногтями, которые можно резать разве что ножом. Достаточно было убрать платок с его лица, чтобы увидеть: ему стыдно, он не виноват, что он такой большой, не виноват, что та-

кой тяжелый и красивый, и, знай он, что все так произойдет, нашел бы другое, более приличное место, где утонуть, серьезно, я бы сам привязал к своей шее якорь галиона и шагнул со скалы, как человек, которому тут не понравилось, и не докучал бы вам теперь этим, как вы его называете, мертвецом дня среды, не раздражал бы никого этой мерзкой грудой холодного мяса, у которой со мной нет ничего общего. В том, какой он, было столько правды, что даже самых подозрительных из мужчин, тех, кому опостытели трудные ночи моря, ибо их страшила мысль о том, что женам наскучит мечтать о них и они начнут мечтать об утопленниках, — даже этих и других, более твердых, пронизал трепет от искренности Эстебана.

Вот так и случилось, что ему устроили самые великолепные похороны, какие только мыслимы для бездомного утопленника. Несколько женщин, отправившись за цветами в соседние селения, вернулись оттуда с женщинами, не поверившими в то, что им рассказывали, и эти, когда увидели мертвого собственными глазами, пошли принести еще цветов и, возвращаясь, привели с собою новых женщин, и наконец цветов и людей скопилось столько, что почти невозможно стало пройти. В последний час у них защемило сердце оттого, что они возвращают его морю сиротой, и из лучших людей селения ему выбрали отца и мать, а другие стали ему братьями, дядьями, двоюродными братьями, и кончилось тем, что благодаря ему все жители селения между собой породнились. Какое-то моряки, услышав издалека их плач, усомнились, правильным ли курсом они плывут, и известно, что один из них, вспомнив древние сказки о сиренах, велел привязать себя к грот-мачте. Споря между собой о чести нести его на плечах к обрыву, жители селения впервые поняли, как безрадостны их улицы, безводны камни их дворики, узки их мечты рядом с великолепием и красотой утопленника. Они сбросили его с обрыва, так и не привязав якоря, чтобы он мог вернуться когда захочет, и затаили дыхание на тот вырванный из столетий миг, который предшествовал падению тела в бездну.

Им даже не нужно было теперь смотреть друг на друга, чтобы понять: они уже не все тут и никогда все не будут. Но они знали также, что отныне все будет по-другому: двери их домов станут шире, потолки выше, полы прочнее, чтобы воспоминание об Эстебанае могло ходить повсюду, не ударяясь головой о притолоку, и в будущем никто бы не посмел шептать, глупый верзила умер, какая жалость, красивый дурак умер, потому что они, чтобы увековечить память об Эстебанае, выкрасят фасады своих домов в веселые цвета и костями лягут, а добьются, чтобы из безводных камней забили родники, и посеют цветы на крутых склонах прибрежных скал, и на рассветах грядущих лет пассажиры огромных судов будут просыпаться, задыхаясь от аромата садов в открытом море, и капитан спустится со шканцев в своей парадной форме, с боевыми медалями на груди, со своей астролябией и своей Полярной звездой и, показывая на мыс, горой из роз поднявшийся на горизонте Карибского моря, скажет на четырнадцати языках, смотрите, вон там, где ветер теперь так кроток, что укладывается спать под кроватями, где солнце светит так ярко, что подсолнечники не знают, в какую сторону повернуться, там, да, там находится селение Эстебана.

ЗА ЛЮБОВЬЮ НЕИЗБЕЖНОСТЬ СМЕРТИ

Когда сенатор Онесимо Санчес встретил женщину своей судьбы, до смерти ему оставалось шесть месяцев и одиннадцать дней. Он увидел эту женщину в Наместничьих Розах, селении, подобном двуликому Янусу: ночью оно давало приют приплывающим издалека кораблям контрабандистов, зато при свете дня казалось ни к чему не пригодным уголком пустыни на берегу пустынного моря, в котором нет ни севера, ни юга, ни запада, ни востока. Селение это было настолько удалено от всего на свете, что никому бы и в голову не пришло, что здесь может жить кто-то, способный изменить чью бы то ни было судьбу. Казалось, что само название дано селению в насмешку, потому что единственную розу, какую здесь когда-либо видели, привез сенатор Онесимо Санчес в тот самый день, к концу которого он познакомился с Лаурой Фариной.

Избирательная кампания, которая проводилась каждые четыре года, шла как обычно. Утром прибыли фургоны с комедиантами. Потом грузовики доставили индейцев, которых возили из городка в городок, чтобы они изображали толпу во время предвыборных собраний. Около одиннадцати, под звуки музыки и треск фейерверков, появился министерский автомобиль цвета земляничной воды. Внутри, в кондиционированной прохладе, сидел неуместно безмятежный сенатор Онесимо Санчес; едва открыв дверцу машины, он содрогнулся отдохнувшего на него зноя, его шелковая рубашка в одно мгновение пропиталась потом, и сенатор сразу почувствовал себя таким старым и одиноким, каким не чувствовал себя никогда. Ему только что исполнилось сорок два года, в свое время он получил в Гёттингене диплом инженера-металлурга с отличием и уже много лет упорно, хотя и без особой для себя пользы, читал латинских классиков в

плохих переводах. Женат он был на неизменно веселой и улыбающейся немке, у них было пятеро детей, и в его доме все были счастливы, а счастливее всех был он сам — пока, три месяца назад, ему не сказали, что в ближайшее Рождество он умрет.

Пока заканчивались приготовления к собранию, сенатору удалось побыть одному и отдохнуть часок в отведенном ему доме. Прежде чем прилечь, он поставил в свежую воду розу, которую сумел провезти живой через пустыню, потом, чтобы не есть лишний раз жареной козлятины, которую ему предстояло есть днем, поел диетической каши, которую возил с собой повсюду, и, не дожидаясь, когда начнется боль, принял несколько обезболивающих таблеток. После этого он поставил около гамака электрический вентилятор, сбросил с себя всю одежду и улегся на пятнадцать минут в тени розы, гоня от себя все мысли о смерти. Кроме врачей, никто не знал, что он приговорен и ждет своего, заранее известного ему часа, потому что он решил нести крест этой тайны в одиночку, ничего не меняя в своей жизни, и решил так не от гордыни, а из скромности.

Он ощущал себя господином своих способностей, когда в три часа дня, отдохнувший и свежес выбритый, снова появился на людях, в брюках из грубого полотна, в цветастой рубашке и с успокоенной обезболивающими таблетками душой. Однако подтачивавшая его смерть была, по-видимому, гораздо коварней, чем он думал, потому что, поднявшись на трибуну, он испытал странное презрение к тем, кто добивался чести пожать ему руку, и не пожалел, как прежде, индейцев, которые стояли плотными рядами, босые, на маленькой раскаленной голой площади. Властным, почти гневным взмахом руки он оборвал аплодисменты и начал говорить, не жестикулируя, устремив взгляд в изнемогающее от зноя море. Говорил он размеренно, в его глубоком голосе было что-то от неподвижной воды, однако слова, затверженные наизусть и столько раз уже им произносившиеся, всплывали у него в памяти не потому, что им владело желание сказать правду, а потому, что ему

хотелось возразить на одну проникнутую фатализмом сентенцию из четвертой книги записок Марка Аврелия.

— Мы в этом мире для того, чтобы победить природу, — начал он фразой, которая шла вразрез со всеми его убеждениями. — Тогда мы перестанем быть найденышами отечества, сиротами Бога в царстве жажды и неприютности, изгоями в своей собственной стране. Так давайте же станем иными, дамы и господа, станем могучими и счастливыми!

Это были обычные формулы его цирка. Он говорил, а его помощники бросали в воздух пригоршни бумажных голубей, и те, оживая, делали над дощатой трибуной круги и улетали к морю. Другие помощники в это время вытаскивали из фургонов бутфорские деревья с фетровыми листьями и сажали их за спиной у толпы в грунт площади. Посадив деревья, они поставили картонный задник, на котором были нарисованы дома из красного кирпича, со стеклянными окнами, и загородили этой декорацией жалкие лачуги реальной жизни.

Чтобы дать труппе время подготовить спектакль, сенатор удлинил свою речь двумя латинскими цитатами. Он обещал дождевальные машины, переносные инкубаторы, чудо-удобрения, от которых на солончаковой почве будут расти огурцы, а на подоконниках расцветет жасмин. Когда же он увидел, что нафантазированный им мир уже собран и установлен, он показал на него пальцем и прокричал:

— Вот как мы будем жить, дамы и господа! Смотрите, вот как мы будем жить!

Все обернулись. За нарисованными домами плыл трансокеанский лайнер из цветной бумаги, и был он выше самого высокого из домов города на заднике. Один только сенатор заметил, что картонный городок, из-за того, что его возили с места на место и много раз собирали и разбирали, уже пострадал изрядно от непогоды и теперь стал почти таким же бедным, пыльным и печальным, как Наместничьи Розы.

Впервые за двенадцать лет Нельсон Фарина не пошел приветствовать сенатора. Речь он слушал

сквозь послеполуденную дремоту, лежа в своем гамаке под сплетенным из свежих веток навесом у домика из необструганных досок, который сам же и построил своими нежными и ловкими, как у аптекаря, руками, теми самыми, что разрезали на куски первую его жену. В Наместничьих Розах он впервые появился на лодке, груженной невинными длиннохвостыми попугаями ара, и вместе с ним была красивая и склонная к сквернословию негритянка, которую, бежав с кайенской каторги, он встретил в Парамарибо и которая родила ему дочь. Довольно скоро эта женщина умерла, но естественной смертью, не такой, как другая, та, чье изрубленное тело послужило удобрением для грядок цветной капусты на ее же собственном огороде; нет, негритянку погребли целой на местном кладбище и написали на дощечке ее голландское имя. От нее дочь унаследовала пышные формы и цвет кожи, а от отца — глаза, золотистые и словно изумленные; у Нельсона Фарина были все основания считать, что у него в доме растет самая красивая женщина на свете.

Познакомившись еще в первую избирательную кампанию с сенатором Онесимо Санчесом, Нельсон Фарина попросил того помочь ему обзавестись фальшивым удостоверением личности, которое позволило бы ему жить, не испытывая страха перед законом. Сенатор вежливо, но твердо ему отказал. Нельсон Фарина не сложил оружия и несколько лет подряд, в каждый новый приезд сенатора, находил повод обратиться к нему со своей просьбой. Однако ответ он всегда получал один и тот же. Так что на этот раз он решил остаться в гамаке, обреченный гнить заживо в этом пышущем зноем месте, которое когда-то было прибежищем корсаров. Услыхав аплодисменты, раздавшиеся после окончания речи, он приподнялся, вытянул шею и увидел поверх забора обратную сторону представления: косые подпорки зданий, арматуру деревьев, служителей, которые, оставаясь невидимыми для толпы, двигали трансокеанский лайнер. Вся накопившаяся злость выплеснулась из Нельсона Фарина.

— Merde, — сказал он, — c'est le Blacaman de la politique!¹

После выступления сенатор, как обычно, совершил, под музыку оркестра и вспышки пиротехнических ракет, прогулку по улицам, во время которой жители селения, окружив его, докучали ему рассказами о своих невзгодах. Сенатор доброжелательно выслушивал каждого и всегда находил способ утешить, не беря на себя при этом никаких трудновыполнимых обязательств. Одной женщине, взбравшейся со своими шестью малолетними детьми на крышу дома, удалось перекричать шум толпы и взрывы петард.

— Я совсем малого прошу, сенатор, — кричала она, — мне нужен только осёл, возить воду из Пруда Висельника!

Сенатор посмотрел на шестерых грязных и худых малышей.

— Что случилось с твоим мужем? — спросил он ее.

— Отправился искать счастья на остров Аруба, — ответила добродушно женщина, — а встретил иностранку, из тех, что вставляют себе в зубы алмазы.

Толпа встретила ее ответ взрывом хохота.

— Хорошо, — сказал сенатор, — осёл у тебя будет.

И скоро один из его помощников привел в дом женщины вьючного осла, на боках которого несмываемой краской был написан избирательный лозунг, дабы никто не забыл, что этот осёл подарен сенатором.

За время своей недолгой прогулки сенатор оказывал знаки доброго расположения и другим жителям городка, а кроме того, собственноручно дал ложку лекарства больному, который, чтобы посмотреть, как пройдет сенатор, велел вынести свою кровать на улицу. Огибая последний угол, сенатор сквозь щели в заборе патню увидел Нельсона Фарину, лежащего в гамаке; Нельсон Фарина показался ему пепельно-серым и печальным, однако

¹ Здесь (фр.): «Черт побери, да он настоящий фокусник в делах политики!»

сенатор, хоть и без особой радости, его приветствовал:

— Как поживаете?

Тот повернулся к сенатору и утопил его в янтаре своих грустных глаз.

— *Moi, vous savez*¹, — ответил он.

Услышав разговор, в патио вышла его дочь. На ней был старенький халат, голову украшали разноцветные банты, а лицо было намазано кремом от загара, но даже в таком виде она была самой красивой женщиной на свете. У сенатора даже дыхание перехватило.

— Черт возьми, — изумленно выдохнул он, — надо же, чтобы Бог такое создал!

Тем же вечером Нельсон Фарина велел дочери надеть на себя лучшее, что у нее было, и послал ее к сенатору. Двое охранников с винтовками, разморенные жарой и клюющие носом в предоставленном гостю доме, приказали ей сесть на единственный стул в передней и ждать.

Сенатор заседал в соседней комнате вместе с самыми влиятельными жителями Наместничьих Роз, приглашенными, чтобы он мог напрямик сказать им о том, о чем не говорил в своих выступлениях. Эти люди были столь похожи на тех, кто всегда присутствовал на таких заседаниях во всех городках пустыни, что сенатору казалось, будто каждый вечер происходит одно и то же заседание, которое ему давно уже осточертело. Рубашка на сенаторе пропиталась потом, и он пытался высушить ее на себе струей горячего воздуха от вентилятора, назойливо жужжавшего в сонном оцепенении комнаты.

— Мы с вами, разумеется, кормимся не бумажными птичками, — говорил сенатор. — И мы знаем, что с того дня, как в той выгребной яме появлялись цветы и деревья, а в прудах вместо головастика заведутся карпы, ни вам, ни мне делать здесь будет нечего. Вы меня понимаете?

Все молчали. Продолжая говорить, сенатор оторвал листок от календаря и сложил из него бу-

¹ «Я? Сами знаете» (фр.).

мажную бабочку. Просто так, машинально, он бросил ее в струю воздуха от вентилятора, и бабочка, описав круг, выпорхнула в приоткрытую дверь. Сенатор говорил спокойно, так, как не смог бы говорить никогда, если бы не вступил в тайный сговор со смертью.

— В таком случае, — сказал он, — мне не нужно повторять то, что вы и сами прекрасно знаете: в моем переизбрании вы заинтересованы больше меня, потому что я гнилой водой и индейским потом сыт по горло, а вы, наоборот, этим живете.

Когда бумажная бабочка вылетела в переднюю, Лаура Фарина сразу ее увидела. Увидела она одна, потому что охранники спали, сидя, обхватив руками винтовки, на скамейках со спинками. Огромная бабочка с рисунками на крыльях сделала несколько кругов, потом лист бумаги развернулся и прилип к стене. Лаура Фарина попробовала оторвать его ногтями. Один из охранников, разбуженный звуком аплодисментов, раздавшихся в соседней комнате, сказал, что попытка ее напрасна.

— Не оторвешь, — пробормотал он сквозь сон, — потому что она нарисована на стене.

Лаура Фарина снова уселась на стул, и как раз в это время начали выходить заседавшие. Сенатор, держась за ручку двери, стоял в дверном проеме и увидел Лауру Фарину, только когда передняя опустела.

— Что ты здесь делаешь?

— *C'est de la part de mon pere*¹, — ответила она.

Сенатор понял. Он пристально посмотрел на спящего охранника, потом на Лауру Фарину, чья немислимая красота в один миг одержала победу над его болью, и подумал, что за него все уже решила смерть.

— Входи, — сказал он ей.

Лаура Фарина остановилась, словно зачарованная, в дверях: по комнате порхали, как вылетевшая к ней бабочка, тысячи банковских билетов. Но Онесимо Санчес выключил вентилятор, и банкно-

¹ Здесь: «Меня послал отец» (фр.).

ты, которые уже ничто не поддерживало в воздухе, стали спускаться на пол и на все вещи в комнате.

— Видишь, — улыбнулся сенатор, — даже дерьмо летает.

Лаура Фарина чувствовала себя школьницей. У нее была гладкая тугая кожа, того же цвета и той же солнечной плотности, что и сырая нефть, и волосы ее были как грива молодой кобылицы, а от огромных глаз исходило сияние ярче света. Сенатор проследил за лучом ее взгляда и в конце его увидел страдающую от селитры розу.

— Это роза, — сказал сенатор.

— Я знаю, — отозвалась она чуть смущенно, — я такие видела в Риоаче.

Сенатор сел на походную кровать и, продолжая говорить о розах, начал расстегивать свою рубашку. На боку, там, где, предполагал он, у него находилось сердце, была корсарская татуировка: сердце, пронзенное стрелой. Он швырнул влажную рубашку на пол и попросил Лауру Фарину, чтобы та помогла ему снять ботинки.

Она стала на колени. Сенатор смотрел на нее, раздумывая, и, пока Лаура Фарина возилась со шнурками, задал себе вопрос, для кого из них двоих встреча эта обернется бедой.

— Ты же совсем ребенок, — сказал он.

— Вовсе нет, — возразила она. — В апреле мне исполнится девятнадцать.

Сенатор заинтересовался:

— Какого числа?

— Одиннадцатого, — ответила она.

Настроение у сенатора поднялось.

— Мы оба Овены, — сказал он. И добавил, улыбаясь: — Это знак одиночества.

Лаура Фарина не обратила внимания на его слова, потому что не знала, что ей делать с ботинками. Сенатор же не знал, что ему делать с Лаурой Фаринной, потому что не привык к непредвиденным любовным встречам и ясно понимал к тому же неизменную природу сегодняшней. Чтобы выиграть время, он, крепко обхватив Лауру Фарину за талию, откинулся на спину в свою походную кровать и повалил ее на себя. И тут он понял, что, кроме

платья, на ней ничего нет, потому что от нее исходил густой запах дикого животного, хотя сердце ее испуганно билось, а кожа, покрытая холодным потом, стала ледяной.

— Никто нас не любит, — вздохнул он.

Лаура Фарина хотела что-то сказать, однако воздуха ей хватило только на выдох. Сенатор сам уложил ее рядом, погасил свет, и комната была теперь в тени розы. Лаура Фарина отдала себя на милость Провидения. Сенатор начал медленно ее поглаживать, его рука стала искать ее, почти к ней не прикасаясь, но наткнулась там, где он ожидал ее найти, на что-то железное.

— Что у тебя здесь?

— Замок, — ответила она.

— Какое идиотство! — воскликнул разъяренный сенатор, а потом спросил о том, что и так уже знал: — А ключ у кого?

Лаура Фарина облегченно вздохнула.

— У папы, — ответила она. — Он велел передать вам, чтобы вы послали за ключом нарочного и чтобы у того было с собой письменное обязательство от вас уладить папино дело.

Все в сенаторе напряглось.

— Французишко проклятый! — пробормотал он возмущенно.

Потом он закрыл глаза и в наступившей полной темноте встретился с самим собой. «Помни, — вспомнилось ему, — и ты и любой другой очень скоро умрете, и вскоре после этого даже имени не останется от вас». Он подождал, чтобы унялась дрожь, и спросил:

— Скажи, что обо мне говорят?

— Истинную правду?

— Истинную правду.

— Хорошо, — ответила, осмелев, Лаура Фарина. — Говорят, что вы хуже других, потому что не такой, как все.

Сенатор ничем не выразил своего отношения к сказанному. Он долго молчал, не открывая глаз, а когда открыл, вид у него был такой, будто он только что вернулся из самых тайных глубин своей души.

— Черт с ним, — заговорил он. — Скажи своему подлому отцу, что я улажу его дело.

— Если хотите, я схожу за ключом сама, — предложила Лаура Фарина.

Сенатор остановил ее.

— Забудь о ключе, — сказал он, — и поспи со мной немножко. Хорошо, чтобы кто-нибудь с тобой был, когда ты одинок.

Тогда она, не отрывая глаз от розы, положила его голову к себе на плечо. Сенатор обнял ее за талию, спрятал лицо в пахнувшей диким животным подмышке и ужаснулся, вспомнив о близкой смерти. Через шесть месяцев и одиннадцать дней ему предстояло умереть в этой же самой позе, опозоренному и всеми отвергнутому из-за общественного скандала, связанного с именем Лауры Фарины, рыдающему от ярости из-за того, что в эту минуту ее около него нет.

ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ КОРАБЛЯ-ПРИЗРАКА

Вот теперь я им докажу, сказал он себе своим новым, низким голосом мужчины через много лет после того, как однажды ночью впервые увидел этот огромный трансокеанский лайнер, который беззвучно и с потушенными огнями прошел по бухте, похожий на громадный, покинутый людьми дворец, он был длиннее городка и намного выше, чем колокольня церкви, этот лайнер, который проследовал в темноте дальше, на другую сторону бухты, к укрывшемуся от корсаров за крепостной стеной городу колониальных времен, с его когда-то работорговым портом и вращающимся прожектором маяка, чей скорбный свет через каждые пятнадцать секунд преображал городок в лунное селение, где дома фосфоресцируют, а улицы проходят по вулканической пустыне, и хотя он был тогда ребенком и низкого голоса мужчины у него не было, у него было зато разрешение матери оставаться на пляже допоздна и слушать, как играет ветер на своих ночных арфах, он запомнил до мельчайших подробностей, будто видел сейчас, как трансокеанский лайнер исчезает, когда свет маяка на него падает, и возникает снова, когда свет уходит, корабль как бы мерцал, то он есть, то его нет, и когда входил в бухту, и потом, когда словно на ощупь, как лунатик, начинал искать буи, указывающие фарватер, и вдруг, должно быть, что-то случилось со стрелками компасов, потому что корабль повернул к подводным камням, налетел на них, развалился на куски и погрузился в воду без единого звука, хотя подобное столкновение с рифами должно было бы вызвать такой грохот и скрежет

металла и такой взрыв в двигателях, что оцепенели бы от ужаса даже спящие самым крепким сном драконы в доисторической сельве, начинающейся на окраине колониального города и кончающейся на другом конце света, он тогда сам подумал, что это сон, особенно на другой день, когда увидел сверкающую акваторию порта, буйные краски негритянских барачков на прибрежных холмах, шхуны гайанских контрабандистов, принимающие на борт свой груз невинных попугаев с полными алмазов зобами, я считал звезды и уснул, подумал он, и мне привиделся ясным-ясно, как наяву, этот огромный корабль, именно так все и было, он остался в этом убежден, и не рассказал о сне никому, и даже не вспомнил об этом видении, но в следующий март, в то же число, когда бродил ночью по берегу, высматривая стайки дельфинов в море, он вместо них увидел прошлогодний трансокеанский лайнер, нереальный, сумеречный, мерцающий, и опять этот корабль постигла та же странная и ужасная судьба, что и в первый раз, никакой это не сон, я видел корабль на самом деле, и он побежал рассказать обо всем матери, и потом она три недели стонала и вздыхала, горюя, ведь у тебя мозги гниют оттого, что ты живешь наоборот, днем спишь, а ночами бродишь Бог знает где, как плохие люди, как раз в те дни ей обязательно нужно было побывать в городе за крепостной стеной, купить что-нибудь, на чем удобно было бы сидеть, когда думаешь о мертвом муже, потому что полозья ее качалки сломались за одиннадцать лет вдовства, и она воспользовалась случаем и попросила лодочника, который их вез, проплыть мимо рифов, чтобы сын мог увидеть то, что он и увидел на самом деле в витрине моря, увидел, как среди расцветающих повесенному губок любят друг друга мантаррайи, как в водоемах с самыми ласковыми водами, какие только есть под водой, плещутся розовые парго и голубые корвины и даже как плавают шевелюры утопленников, погибших в каком-то кораблекрушении колониальных времен, но никакого следа потонувших трансокеанских лайнеров, ни даже мертвого ребенка, но он твердил, что корабли бы-

ли, и мать пообещала, что в следующий март будет бодрствовать вместе с ним, это определено, не зная, что единственно определенным в её будущем было теперь только кресло времен Фрэнсиса Дрейка, которое она купит в этот день на устроенном турками аукционе, она села в него отдохнуть в тот же самый вечер, вздыхая, о мой бедный Олоферн, если бы ты только видел, как хорошо вспоминается о тебе на этом бархатном сиденье, среди этой парчи словно с катафалка королевы, но чем больше думала она о покойном муже, тем сильнее бурлила и тем скорей превращалась в шоколад кровь у нее в сердце, как если бы она не сидела, а бежала, в ознобе, обливаясь потом и дыша будто сквозь слой земли, и он, вернувшись на рассвете, нашел ее в кресле мертвой, еще теплой, но уже наполовину разложившейся, как бывает, когда ужалит змея, и то же случилось потом еще с четырьмя женщинами, и тогда кресло-убийцу бросили в море, далеко-далеко, где оно уже никому не причинит вреда, ведь за прошедшие столетия им столько пользовались, что свели на нет способность кресла давать отдых, и теперь пришлось свыкаться с несчастной сиротской долей, все на него показывали, вот сын вдовы, которая привезла в городок трон бед и страдания, живет не столько на общественную благотворительность, сколько воруя из лодок рыбу, а голос его между тем все больше начинал походить на рычанье, и видения прошлых лет вспомнились ему только в мартовскую ночь, когда он случайно посмотрел на море, и, мама моя, да вот же он, чудовищно огромный кит цвета асбеста, зверь рычащий, смотрите, кричал он, как безумный, смотрите, и от его крика поднялся такой лай собак и так завизжали женщины, что самым старым из стариков вспомнились страхи их прадедов, и они, думая, что вернулся Уильям Дэмпир, попрятались под кровати, но те, кто выбежал на улицу, даже не взглянули на неправдоподобное сооружение, которое в этот миг, потеряв ориентацию, снова разваливалось на части в ежегодном кораблекрушении, вместо этого они избили его до полусмерти, так что он не мог разогнуться, вот тогда-то он и

сказал себе, брызжа от ярости слюной, хорошо, я им докажу, но своего решения не выдал ничем, и одна мысль целый год, хорошо, я им докажу, он ждал новой ночи привидений, чтобы сделать то, что он сделал, и вот наконец пришло это время, он сел в чью-то лодку, переплыл в ней бухту и в ожидании своего звездного часа провел конец дня на крутых и узких улочках бывшего работоргового порта, погрузился в котел, где варились люди со всего Карибского побережья, но был настолько поглощен своим замыслом, что не останавливался, как прежде, перед лавками индусов посмотреть на слоновьи бивни, украшенные резьбой в виде мандаринов, не насмехался над говорящими голландски неграми в инвалидных колясках, не шарахался в ужасе, как бывало, от малайцев с кожей кобры, которых увлекла в кругосветное путешествие химерическая мечта найти тайную харчевню, где подают жаренное на вертеле филе бразильянок, не замечал ничего, пока не легла на него всей тяжестью своих звезд ночь и не дохнула сельва нежным ароматом гардений и разлагающихся саламандр, и вот уже он плывет, работая веслами, в чужой лодке к выходу из бухты, не зажигая, чтобы не привлечь внимания береговой охраны, фонарь, становясь через каждые пятнадцать секунд, когда его осеняло зеленое крыло света с маяка, нечеловечески прекрасным и затем обретя во мраке снова обычное человеческое обличье, и сейчас он знал, что плывет около буев, указывающих фарватер, знал не только потому, что все ярче становился их грустный свет, но и потому, что теперь печальней дышала вода, и так он греб, настолько погруженный в самого себя, что его застали врасплох и леденящее душу акулье дыхание, которым пахнуло вдруг неизвестно откуда, и то, что мрак ночи вдруг сгустился, как если бы внезапно погасли звезды, а случилось так потому, что трансокеанский лайнер был уже здесь, совсем рядом, немислимо огромный, мама родная, крупней всего огромного, что только есть на свете, и темней всего темного, что скрыто в земле или под водой, триста тысяч тонн акулье запаха проплыли

так близко, что он увидел уходящие вверх по стальному обрыву швы, и ни искорки света в бесчисленных бычьих глазах, ни вздоха в машинном чреве, ни души живой на борту, зато свой собственный ореол безмолвия, собственное беззвездное небо, собственный мертвый воздух, собственное остановившееся время, свое собственное, странствующее с ним вместе море, где плавает целый мир утонувших животных, и внезапно от удара света с маяка все это исчезло, и на несколько мгновений возникли снова прозрачное Карибское море, мартовская ночь, обычный воздух, в котором хлопают крыльями пеликаны, и теперь он был между буев один и не знал, что делать, только спрашивал себя недоуменно, не грезил ли я и вправду наяву, не только сейчас, но раньше, но едва он себя об этом спросил, как порыв неведомого ветра погасил все буи, от первого до последнего, а когда свет маяка ушел, трансокеанский лайнер возник снова, и теперь магнитные стрелки его компасов показывали путь неправильно, быть может, он даже не знал теперь, в каких широтах каких морей плывет, пытался найти на ощупь невидимый фарватер, а на самом деле шел на камни, и тут озарение, все понятно, то, что произошло с буями, последнее звено в цепи колдовства, сковавшей корабль, и он зажег на лодке фонарь, крохотный красный огонек, которого не мог бы заметить никто на минаретах береговой охраны, но который для рулевого на корабле оказался, видно, ярким, как восходящее солнце, потому что, ориентируясь на этот огонек, трансокеанский лайнер исправил курс и маневром счастливого возвращения к жизни вошел в широкие ворота фарватера, и разом зажглись все его огни, снова тяжело задышали котлы, небо над ним расцветилось звездами, и опустились на дно трупы утонувших животных, из кухонь теперь доносились звон посуды и благоуханье лаврового листа, и на залитых лунным светом палубах слышалось уханье духового оркестра, и бум... бум, стучали в полутьме кают сердца полюбивших друг друга в открытом море, но в нем накопилось столько злобы и ярости, что изумление и восторг не смогли

заглушить их, а чудо не смогло его испугать, нет, сказал он себе так решительно, как еще не говорил никогда, вот теперь я им докажу, будь они прокляты, теперь я им докажу, и он не ушел от гиганта в сторону, чтобы тот не мог его смять, а поплыл, налегая на весла, впереди, вот теперь я им докажу, и так он плыл, указывая кораблю путь своим фонарем, и наконец, убедившись, что корабль ему послушен, опять заставил его изменить направление, сойти с курса, которым тот шел к пристани, вывел за невидимые границы фарватера и повел за собой к уснувшему городку, так, как будто это ягненок, только живущий в море, этот корабль, ныне оживший и неуязвимый более для света маяка, теперь свет не превращал корабль каждые пятнадцать секунд в невидимку, а делал алюминиевым, впереди уже все яснее вырисовывались кресты церкви, нищета жилищ, ложь, а трансокеанский лайнер по-прежнему следовал за ним вместе со всем, что нес, со своим капитаном, спящим на том боку, где сердце, с тушами боевых быков в инее холодильников, с одиноким больным в корабельном госпитале, с водой в цистернах, о которой все позабыли, с не получившим отпущения грехов рулевым, который, видно, принял береговые камни за пристань, потому что вдруг раздался немислимый вой гудка, раз, и его промочила до костей, падая сверху, струя остывающего пара, второй гудок, и чужая лодка, в которой он плыл, чуть не перевернулась, и третий, но теперь уже все, потому что вот они, совсем рядом, извивы берега, камни улицы, дома не веривших, весь городок, освещенный огнями перепуганного трансокеанского лайнера, сам он едва успел дать дорогу надвигающемуся катаклизму, крича сквозь грохот, так вот же вам, сволочи, получайте, и в следующее мгновение стальная громада раздавила землю, и стал слышен хрустальный звон девяноста тысяч пятисот бокалов для шампанского, разбивающихся один за другим от носа до кормы, а потом стало совсем светло, и было уже не раннее утро мартовского дня, а полдень сияющей среды, и он смог насладиться зрелищем того, как не верившие смотрят разинув рот на стоящий

напротив церкви самый большой в этом мире и в мире ином трансокеанский лайнер, белей всего белого, что только есть на свете, в двадцать раз выше колокольни и раз в девяносто семь длинней городка, на нем железными буквами было написано название ХАЛАЛЧИЛЛАГ¹, и древние воды морей смерти еще стекали лениво с его бортов.

¹ Звезда смерти (венг.).

ДОБРЫЙ ФОКУСНИК, ПРОДАВЕЦ ЧУДЕС

В то воскресенье, когда я его увидел в первый раз — бархатные подтяжки прострочены золотой мишурой, на всех пальцах перстни с цветными камешками, волосы на голове заплетены в косу, и в косу эту вплетены бубенчики,— я подумал сперва, что это какой-то жалкий цирковой униформист взобрался на стол; было это в порту Санта-Мариядель-Дарьен, стол был заставлен пузырьками лекарств от разных недугов и завален успокаивающими травами, все он сам готовил и продавал, надтреснутым громким голосом расхваливал свой товар в городках на Карибском побережье, но только в тот раз никакого индейского дерьма еще не предлагал, а просил: принесите настоящую ядовитую змею, и я покажу на себе, как действует найденное мною противоядие, единственное абсолютно надежное, дамы и господа, от укусов змей, тарантулов, сколопендр и всякого рода ядовитых млекопитающих. Кто-то, на кого, похоже, его вера в свое противоядие произвела сильное впечатление, сходил куда-то и принес в бутылке мапану́ из самых худших, из тех, от укуса которых жертва сразу же начинает задыхаться, и он схватил бутылку с такой жадностью, что все мы подумали, будто эту змейку он сейчас съест, но она, едва почувствовав, что свободна, вмиг выскочила из бутылки и укусила его в шею, и он, задыхаясь, уже не мог говорить, и только успел принять свое противоядие, как стол, заставленный дрянью, опрокинулся под напором толпы, и огромное тело осталось, свалившись с него, лежать на земле, и казалось, что внутри оно совсем пустое, но он все так же смеялся и все так же блестели его золотые зубы. Грохот от падения стола был такой, что броненосец с севера, прибывший с дружеским визитом лет двадцать назад и с тех пор стоявший у пристани, объявил карантин, опасаясь, что змеиный яд может

попасть к нему на палубу, а люди, праздновавшие вербное воскресенье, вышли из церкви со своими освященными пальмовыми листьями, не дождав-шись конца мессы, потому что каждому хотелось увидеть, что происходит с ужаленным, а того уже раздувал воздух смерти, и теперь он в объёме был вдвое больше прежнего, изо рта у него шла желтая пена, и было слышно, как дышат его поры, но по-прежнему он так сотряслся от хохота, что все бу-бенчики на нем звенели. Увеличиваясь, тело его отрывало у гетр пуговицы и разрывало швы одеж-ды, и казалось, что перстни вот-вот разрежут ему пальцы, а лицо его обрело цвет солонины, и все, кто видел, как его ужалила змея, поняли, что он, хотя еще жив, уже гниет и скоро рассыплется на такие мелкие кусочки, что его придется сгребать и сыпать лопатой в мешок, но в то же время им ка-залось, что, даже превратившись в опилки, он не перестанет смеяться. Зрелище было настолько не-вероятное, что морские пехотинцы из северной страны поднялись на мостик своего корабля, чтобы фотоаппаратами с мощными линзами заснять его оттуда в цвете, но женщины, вышедшие из церкви, помешали им это сделать, они накрыли умирающе-го одеялом, а на одеяло положили освященные пальмовые листья: кто-то — чтобы не дать мор-ским пехотинцам осквернить тело своими чуже-земными шутовскими, а кто-то потому, что было страшно смотреть на нечестивца, способного умереть от смеха в буквальном смысле этого слова; другие же надеялись, что таким способом избавят от яда хотя бы его душу. Все уже решили, что он мертв, когда одним движением он сбросил с себя пальмовые листья и, еще не совсем очнувшись и не оправившись до конца от происшедшего, без по-сторонней помощи поставил стол, вскарабкался на него кое-как, и вот он уже опять кричит, что про-тивоядие это прямо-таки благословенье Господне в пузырьке, вы все в этом убедились, и стоит всего два квартильо, и изобрел он это противоядие не из-за корысти, а для блага людей, кто еще там гово-рит, будто это одно и то же, и только прошу вас, дамы и господа, не напирайте, хватит на всех.

Но люди, конечно, напирали, и правильно делали, потому что на всех не хватило. Один пузырек приобрел даже адмирал с броненосца, поверивший, что снадобье это защитит также и от отравленных пуль анархистов, а члены экипажа, увидев, что им не сфотографировать человека, ужаленного змеей, мертвым, не только стали снимать его стоящим во весь рост на столе, но еще заставили давать автографы, и он их давал до тех пор, пока руку не свело судорогой. Уже совсем стемнело, почти все разошлись, в порту оставались только самые неприкаянные, и тут он стал искать взглядом кого-нибудь с лицом поглупее, ведь нужно было, чтобы кто-то помог ему убрать со стола и упаковать пузырьки, и, конечно, взгляд его остановился на мне. Словно сама судьба на меня взглянула, не только моя, но и его, и хотя с тех пор прошло уже больше ста лет, мы с ним помним все, как будто это было в прошлое воскресенье. Так или иначе, но мы уже складывали с ним его аптеку в чемодан с пурпурными завитушками, скорее похожий на гробницу мудреца, когда он, должно быть, увидев внутри меня какой-то свет, которого не увидел сразу, спросил равнодушно, кто ты, и я ответил, что я сирота при живом отце, и он расхохотался даже громче, чем когда на него действовал яд, а потом спросил, чем ты занимаешься, и я ответил, что не занимаюсь ничем, просто живу, потому что все остальные занятия ломаного гроша не стоят, и он, все еще плача от смеха, спросил, есть ли на свете такое, что мне все-таки хотелось бы знать, и это был единственный раз, когда я ответил ему серьезно и сказал правду, что хотел бы научиться гадать и предсказывать, и тогда он перестал смеяться и сказал, будто размышляя вслух, что для этого мне не хватает совсем немногого, глупое лицо, которое для этого необходимо, у меня уже есть. В тот же вечер он поговорил с моим отцом и за реал с двумя квартильо и колоду карт, способных предсказывать любовные победы, купил меня навсегда.

Таков был злой фокусник, потому что добрый фокусник — не он, а я. Он мог доказать астроному,

что месяц февраль — это стадо невидимых слонов, но, когда фортуна поворачивалась к нему спиной, он становился жестокосердым. В свои лучшие времена он был бальзамировщиком вице-королей и, рассказывают, умел придать их лицам выражение такой властности, что они потом еще по многу лет правили даже лучше, чем при жизни, и до тех пор, пока он не возвращал им обычного вида мертвых, никто не осмеливался их хоронить, но его положение пошатнулось после того, как он изобрел шахматы, в которых невозможны ни поражение, ни победа, а партия длится бесконечно; игра эта довела до безумия одного капеллана и стала причиной самоубийства двух титулованных особ, и после этого он покатился вниз, стал толкователем сновидений, потом гипнотизером, которого приглашают для развлечения гостей на дни рождения, потом зубодером, удаляющим зубы путем внушения, и, наконец, ярмарочным знахарем, и в ту пору, когда мы с ним познакомились, даже невежественные пираты не принимали его всерьез. Мы мотались по свету вместе с нашей кучей лжелелекарств, и мы жили в вечном страхе из-за наших свечей, которые, если их зажжешь, делают контрабандистов невидимыми, из-за капель, которыми жены-христианки, незаметно накапав их в суп, могут сделать богобоязненными мужей-голландцев, и из-за всего того, что вы выберете сами, дамы и господа, и я совсем не настаиваю, чтобы вы покупали, а просто советую не отказываться от своего счастья. Но, хоть мы и умирали со смеху над всем тем, что с нами происходило, на самом деле нам едва удавалось заработать себе на хлеб, и теперь он надеялся только на мое умение предсказывать. Переодев меня в японца, положив в похожий на гробницу чемодан и цепью приковав внутри к правой стенке, он запирает меня в нем, чтобы я оттуда предсказывал, а сам в это время лихорадочно листал грамматику, отыскивая лучший способ заставить людей поверить в его новую науку, а вот перед вами, дамы и господа, младенец, терзаемый светляками Иезекииля, и вот, например, вы, сеньор, ваше лицо выражает недоверие, давайте посмотрим, хватит ли у вас духу спро-

сильно его, когда вы умрете, но я никогда не мог сказать, даже какой сегодня день и месяц, и в конце концов он потерял надежду на то, что я стану предсказателем, это из-за того не работает твоя железа прорицаний, что ты после обеда спишь; а потом, чтобы удача к нему вернулась, ударил меня палкой по голове и сказал, что отведет меня к отцу и потребует с него назад деньги. Как раз тогда, однако, он обнаружил способы применять электричество, рождаемое страданием, и стал мастерить швейную машинку с присосками, которая работает, если присоединить эти присоски к испытывающей боль части тела. Но так как я ночи напролет стонал от палочных ударов, которыми он осыпал меня для того, чтобы у него кончилась полоса невезенья, ему пришлось, чтобы испытать свое изобретение, оставить меня у себя, и мое возвращение домой стало откладываться, а его настроение подниматься, и наконец машинка заработала прекрасно, стала шить не только лучше любой послушницы, но и вышивать, в зависимости от силы боли и от того, где болит, птичек и цветы астромелии. В таком положении мы и пребывали, уверенные, что одержали наконец победу над невезеньем, когда до нас дошла весть о том, что адмирал с броненосца, пожелав продемонстрировать в Филадельфии действие купленного им противоядия, превратился в присутствии своего штаба в варенье из адмирала.

Теперь он не смеялся. Мы бежали по тропинкам, которые знают одни индейцы, и чем в большую глушь мы забирались, тем чаще слышали, что под предлогом борьбы с желтой лихорадкой в страну вторглись морские пехотинцы и рубят головы всем явным и тайным торговцам зельями, каких встречают на своем пути, и рубят не только коренным жителям, этим на всякий случай, но и, по рассеянности, по привычке — неграм, и за то, что те умеют заклинать змей, — индийцам, а потом уничтожают фауну, и флору, и, если удастся, минералы, потому что их специалисты по нашим делам объяснили им, что жители Карибского побережья даже природу готовы изменить ради того,

чтобы досадить гринго. Я не понимал ни почему морские пехотинцы в такой ярости, ни чего мы с ним так боимся, пока мы не оказались в безопасности наедине с ветрами Гуахиры, дующими от начала времен, и только тут у него хватило духу мне признаться, что противоядие его было не более чем смесью ревеня со скипидаром, но он заранее заплатил два квартильо какому-то бродяге, чтобы тот принес лишнюю яда мапану́. Мы поселились в руинах миссии колониальных времен, поддерживаемые иллюзорной надеждой на то, что появятся контрабандисты, те, кому можно доверять и кто только и способен решиться ступить на эти пустынные солончаки, оказаться под ртутной лампой этого солнца. Сперва мы ели копченых саламандр с сорняками, и мы были еще способны смеяться, когда попытались съесть, сварив предварительно, его гетры, но, когда мы съели даже паутину с поверхности прудов, мы поняли, как не хватает нам оставленного нами мира. Поскольку я в то время не знал от смерти никаких средств, я лег, принял положение, при котором болело меньше, и стал ее ждать, а он в это время вспоминал в бреду о женщине, такой нежной, что она, вздыхая, могла проходить сквозь стены, но даже эти любовные страдания были просто вызовом, который он бросил смерти. Однако в час, когда мы уже должны были быть мертвыми, он подошел ко мне и сел рядом, полный жизни как никогда, и провел ночь, наблюдая за моей агонией, думая с такой силой, что я до сих пор не знаю, ветер тогда свистел среди развалин или его мысли, а перед рассветом сказал тем же голосом и так же решительно, как в прежние времена, что теперь он наконец знает истину, и заключается она в том, что это из-за меня искривилась линия его судьбы, так что затяни ремень потуже, потому что то, что ты мне искривил, ты же мне сейчас и выпрямишь.

Тогда-то и начал я терять те крохи расположения к нему, какие во мне еще оставались. Он сорвал последние тряпки, которые на мне были, закатал меня в колючую проволоку, насыпал в мои раны селитры, замариновал меня в собственных

моих водах и подвесил за щиколотки на солнце, и при этом кричал, что такого умерщвления плоти недостаточно, что оно не умиротворит его преследователей. Кончил он тем, что бросил меня гнить в моих собственных бедах в подземном карцере покаяния, где миссионеры в колониальные времена наставляли на путь истинный еретиков, и с коварством, которого у него еще оставалось в избытке, стал, используя искусство чревоуващения, которым владел в совершенстве, подражать голосам съедобных животных, созревшей свекле и журчанию родников, чтобы мне казалось, будто от голода и жажды я умираю среди необыкновенного изобилия. Когда же наконец контрабандисты поделились с ним съестными припасами, он стал спускаться в подземелье и приносить мне еды ровно столько, сколько нужно было, чтобы не дать мне умереть, но потом я расплачивался за эту милостыню тем, что он вырывал у меня клещами ногти и мельничными жерновами стачивал зубы, и жил я только надеждой, что у меня еще будет случай избавиться от этих унижений и страшных пыток. Я изумлялся тому, как выдерживаю вонь собственного гниения, а он по-прежнему бросал мне сверху свои объедки и кидал куски дохлых ящериц и хищных птиц, чтобы совсем отравить воздух в моей темнице. Не знаю, сколько времени так прошло, когда он принес труп зайца и стал дразнить меня, показывая, что скорее бросит его гнить, нежели даст мне съесть, но и тогда я не потерял самообладания, а только разозлился, схватил зайца за уши и швырнул в стену, вообразив, что о стену расплющился не зверек, а мой мучитель, и потом все было как во сне, заяц ожил, закричал от ужаса и вернулся, шагая по воздуху, ко мне в руки.

Вот так началась моя новая прекрасная жизнь. Именно с этих пор брожу я по свету и большим малярией снижаю температуру за два песо, зрение слепым возвращаю за четыре пятьдесят, страдающих водянкой обезвоживаю за восемнадцать песо, восстанавливаю конечности безруким или безногим от рождения за двадцать, а потерявшим их в результате несчастного случая или драки — за

двадцать два, а если по причине войны, землетрясения, высадки морской пехоты или любого другого стихийного бедствия, то за двадцать пять, обычные болезни исцеляю все разом по договоренности, с помешанных беру в зависимости от того, на чем помешались, детей лечу за половину стоимости, а дураков за спасибо, и ну-ка, дамы и господа, у кого из вас повернется язык сказать, что это не чистая филантропия, а теперь наконец, господин командующий двадцатым флотом, прикажите своим мальчишкам убрать заграждения и пропустить страждущее человечество, прокаженные налево, эпилептики направо, паралитики туда, где они не будут мешать, а менее острые случаи пусть ждут позади, только, пожалуйста, не наваливайтесь на меня все разом, иначе я ни за что не отвечаю, могу перепутать болезни и вылечу вас от того, чего у вас нет, и пусть от музыки закипит медь труб и от фейерверков сгорят ангелы, а от водки погибнет мысль, и пусть придут канатоходцы и шлюхи, скототуберкулезники и фотографы, и все это за мой счет, дамы и господа, потому что на этом кончилась дурная слава мне подобных и наступило всеобщее примирение. Вот так, прибегая к депутатским уловкам, я усыпляю вашу бдительность на случай, если вдруг смекалка меня подведет или кто-нибудь из вас почувствует себя после моего лечения хуже, чем до него. Единственное, что я отказываюсь делать, так это воскрешать мертвых, потому что они, едва открыв глаза, набрасываются с кулаками на того, кто нарушил их покой, а потом всё равно либо кончают самоубийством, либо умирают снова, уже от разочарования. Сперва за мной ходила свита ученых, желавших убедиться в моем праве заниматься тем, чем я занимаюсь, а когда удостоверились, что то право у меня есть, они стали пугать меня тем кругом ада, где пребывает Симон Маг, и посоветовали мне остаток жизни провести в покаянии, чтобы я стал святым, но я со всем уважением, которого они заслуживают, ответил, что именно с этого я в свое время и начинал. Ведь мне, артисту, не будет после смерти никакой пользы оттого, что я стану святым, и хочу я только одного: жить и нестись очертя голо-

ву на этой шестицилиндровой колыхаге с откидным верхом, купленной у консула морской пехоты вместе с шофером, когда-то певшим баритоном в опере нью-орлеанских пиратов, с теперешними моими шелковыми рубашками, моими восточными лосьонами, моими зубами из топазов, моей парчовой шляпой, моими комбинированными, из кожи двух цветов ботинками, хочу спать и впредь сколько пожелаю по утрам, танцевать с королевами красоты и кружить им голову своим почерпнутым из энциклопедии красноречием, и у меня не затрясутся поджилки, если как-нибудь в среду, в первый день сорокадневного поста перед пасхой, пропадут мои способности, ведь для того, чтобы жить и дальше этой жизнью министра, мне более чем достаточно глупого лица и бесчисленных лавок, которые тянутся отсюда до мест по ту сторону сумерек, где же туристы, что прежде вносили с нас налог в пользу своего военного флота, теперь лезут, расталкивая друг друга локтями, за фото с моим автографом, за календарями, где напечатаны мои стихи о любви, за медалями с моим профилем, за кусочками моей одежды, и все это несмотря на то, что я, в отличие от отцов отечества, не высечен из мрамора, не торчу днем и ночью верхом на лошади и не обделан весь ласточками.

Жаль, что эту историю не сможет повторить злой фокусник, а то бы вы убедились, что каждое слово в ней правда. В последний раз, когда его видели, он уже растерял даже булавки, которыми было приколото к нему его прежнее великолепие, а благодаря суровости пустыни у него исчезла душа и перемешались в теле кости, но два или три бубенчика в косе у него еще оставались, и этого было больше чем достаточно, как-то в воскресенье он появился снова в порту Санта-Мария-дель-Дарьен со своим неизменным чемоданом, похожим на гробницу, только на этот раз он не торговал противоядиями, а просил голосом, надтреснутым от избытка чувств, чтобы морские пехотинцы расстреляли его на глазах у всех, тогда он сможет продемонстрировать на себе способность этого вот сверхъестественного существа воскрешать людей, дамы и господ, и хотя у вас, которые столько вре-

мени страдали от моих обманов и мошенничеств, есть все основания мне не верить, я клянусь вам костями своей матери: то, что вы сегодня увидите, доподлинная правда, а не что-то из потустороннего мира, и если у вас на этот счет остаются хоть какие-нибудь сомнения, присмотритесь хорошенько и убедитесь, что сейчас я уже не смеюсь как прежде, а с трудом сдерживаю слезы. Можно представить себе, какое впечатление на всех произвело, когда он с глазами, полными слез, расстегнул на груди рубашку и похлопал там, где сердце, указывая этим смерти самое лучшее место, однако морские пехотинцы, боясь оплошать на глазах воскресной толпы, стрелять не стали. Кто-то, должно быть, помнивший его прежние фокусы, куда-то сходил и принес ему в жестянке несколько корней коровяка, которых хватило бы на то, чтобы всплыли брюхом вверх все корвины в Карибском море, и он схватил жестянку с такой жадностью, словно собирался их съесть, и он на самом деле их съел, дамы и господ, только, пожалуйста, не приходите в ужас и не спешите молиться за упокой моей души, ведь умереть для меня все равно что сходить в гости. В этот раз он повел себя честно, не стал, как актер на сцене, изображать предсмертный хрип, а только слез кое-как со стола, выбрал на земле, поколебавшись, самое подходящее место и с него, уже лежа, посмотрел на меня как на родную мать, вытянул вдоль тела руки и, все еще сдерживая свои мужские слезы, испустил последний вздох, и столбняк вечности выкрутил его сперва в одну сторону, а потом в другую. Да, это был единственный раз, когда наука меня подвела. Я положил его в тот, с завитушками, чемодан, куда я вмещаюсь целиком, заказал заупокойную службу, эта служба, из-за того, что облачение на священнике было золотое и в церкви сидели три епископа, обошлась мне в четыре раза по пятьдесят дублонов, и я приказал возвести для него на холме, овеваемом с моря самыми приятными ветерками, часовню, а в ней была гробница, достойная императора, и на чугунной плите заглавными готическими буквами написано: здесь покоится мертвый фокусник, которого

многие называли злым, посрамитель морской пехоты и жертва науки; и когда я решил, что этими почестями воздал должное его добродетелям, но начал мстить ему за унижения, которым он меня подвергал, я воскресил его внутри его бронированной гробницы и оставил там биться в ужасе. Это произошло задолго до того, как порт Санта-Мария-дель-Дарьен съели муравьи, но часовня с гробницей, ничуть от них не пострадавшая, до сих пор стоит на холме в тени драконов, спящих в ветрах Атлантики, и каждый раз, когда бываю в тех краях, я привожу полную машину роз, и сердце у меня, когда я вспоминаю о его добродетелях, разрывается от жалости, но потом я прикладываю ухо к чугунной плите и слушаю, как он плачет среди обломков развалившегося чемодана, и если вдруг он умирает снова, я его снова воскрешаю, ибо наказание это прекрасно тем, что он будет жить в гробнице, пока живу я, то есть вечно.

СОДЕРЖАНИЕ

Рассказ не утонувшего в открытом море (повесть)	5
Какими были мои товарищи, погибшие в море	5
Приглашенные смертью	8
Последние минуты моего пребывания на борту эсминца	10
Начинается пляска	11
Минута безмолвия	13
Четверо моих товарищей тонут у меня на глазах	14
Моя первая ночь в карибском море	21
У меня появился спутник	25
Вижу корабль	30
Отчаянные попытки утолить голод	36
Борьба с акулой из-за рыбы	41
Цвет воды меняется	45
Надежды утрачены	49
Новая галлюцинация — земля	54
Возвращение к жизни на незнакомой земле	59
Шестьсот человек провожают меня в Сан-Хуан	64
Мой героизм заключается только в том, что я не дал себе умереть	69

РАССКАЗЫ

Исабель смотрит на дождь в Макондо	74
Сиеста во вторник	83
У нас в городке воров нет	91
Незабываемый день в жизни Бальтасара	119
Вдова Монтель	127
Искусственные розы	134
Самый красивый утопленник в мире	140
За любовь неизбежность смерти	147
Последнее путешествие корабля-призрака	157
Добрый фокусник, продавец чудес	164

Литературно-художественное издание
Габриэль Гарсиа Маркес
Добрый фокусник, продавец чудес

Выпускающий редактор
Р. Грищенко

Художник И. Мосин

Компьютерный макет и дизайн:
М. Лебедева, В. Пищалев

Корректор: И. Липатова

Компьютерный дизайн обложки А. Ю. Котовой

Макет обложки подготовлен в ООО «Издательство
„Терция“»
198013, Санкт-Петербург, ул. Можайская, д. 18, кв. 2
e-mail: tercia@mail.wplus.net

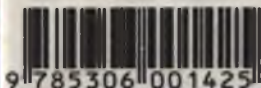
Подписано в печать 27.06.01. Формат 84×90¹/₂.
Печать высокая. Гарнитура тип «Таймс».
Усл. печ. л. 7,7. Тираж 10 000 экз.
Заказ № 992.

ООО «Издательский Дом „Кристалл“»
199004 Санкт-Петербург, Биржевой пер., д. 1/10, кв. 1
e-mail: books@kristall.sp.ru
Тел. в Санкт-Петербурге (812) 327-09-80, 327-46-72
(факс)
Тел. в Москве (095) 219-71-49, 219-18-04

ИД № 01336 от 24.03.00
Гигиенический сертификат
№ 78.01.07.952.Т.14898.05.99 от 24.05.99.

Отпечатано с диапозитивов в ФГУП «Печатный двор»
Министерства РФ по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
197110, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 15.

ISBN 5-306-00142-4



9 785306 001425

В свои лучшие времена он был бальзамировщиком вице-королей и, рассказывают, умел придать их лицам выражение такой власти, что они потом еще по многу лет правили даже лучше, чем при жизни, и до сих пор,



пока он не возвращал им обычного вида мертвых, никто не осмеливался их хоронить, но его положение пошатнулось после того, как он изобрел шахматы, в которых невозможны ни поражение, ни победа, а партия длится бесконечно, игра эта довела до безумия одного капеллана и стала причиной самоубийства двух титулованных особ, и после этого он покатился вниз, стал толкователем сновидений, протом гипнотизером, которого приглашают для развлечения гостей на дни рождения, потом зубодером, удаляющим зубы путем внушения, и, наконец, ярмарочным знахарем...

Габриэль Гарсиа Маркес
«Добрый фокусник, продавец чудес»

K0679